

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1979

Роберт Рождественский

*Избранные
произведения*

в двух томах

Роберт Рождественский

*Избранные
произведения*

Том 1

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОЭМЫ

(1951—1966)

P2
P62

Предисловие
Е. Сидорова

Оформление художника
Вл. Медведева

P $\frac{70402-174}{028(01)-79}$ 72-79

СЛУЖБА ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА

(О творчестве Роберта Рождественского)

Голос Роберта Рождественского был услышан сразу, едва только журнал «Октябрь» опубликовал в 1955 году его юношескую поэму «Моя любовь». Молодой поэт внятно и просто заговорил о вещах, близких многим. Подкупала доверчивая, открытая интонация этого голоса, естественный демократизм и гражданская наполненность лирического высказывания, когда личное неизменно стремилось слиться с судьбами времени, страны, народа.

Поэма началась в груди,
грудь разорвать грозя.
Теперь ее,

как ни крути,
не написать

нельзя.

Я ею бредил по ночам,
берег ее, как жизнь.

Я на руках ее качал
и повторял:

— Пишишь!

Пишишь! —

Я требовал,

но мне

ответил ворох строк:

— Постой!

А был ли ты в огне?

Месил ли

пыль дорог?

Встречал ли ты в атаке смерть?

Привык ли ты дерзать?

И так ли знаешь жизнь,

чтоб сметь

о ней другим сказать?..

Что стояло за «ворохом строк» этой первой, еще во многом несовершенной, но очень искренней поэмы?

Военное сибирское детство, поезда-теплушки, медленные, как очереди за хлебом, музыкальное училище, пионерские концерты в омском госпитале, когда тебя, заикающегося двенадцатилетнего курсанта, слушают тяжело раненные бойцы и командиры, голос начищенной меди полкового оркестра, вызывающий сегодня острые воспоминания и властно, как и тогда, зовущий в будущее: «Никто нам, товарищ, не скажет что нас обделила судьба... Но если над миром однажды тревожно зальется труба... Сквозь ураганный ветер, по коздреватому льду я за тобой пойду, голос начищенной меди!»

Верить стихам поэта о детстве — здесь биография целого поколения, его судьба, решительно определившаяся к середине 50-х годов, времени серьезных общественных сдвигов в советской жизни.

Роберт Иванович Рождественский родился в алтайском селе Косиха в 1932 году, в семье кадрового военного. Мать была врачом, и когда грянула война, заставшая Рождественских в Омске, родители будущего поэта ушли на фронт. «А я, — вспоминает он, — потрясенный всем случившимся, написал стихотворение, и наш школьный учитель отнес это стихотворение в газету. Там оно и было опубликовано...»¹

Много лет спустя Рождественский напишет:

Родился я в селе Косиха,
Дождливым летом.
На Алтае.
А за селом

синело поле
и пахло
ливнем переспелым...
Нет!
Я родился много позже.
Потом.
В июне.
В сорок первом.
И жесткий голос

Левитана
был колыбельною моею.
Меня
война в себя впитала.
Я — сын ее.
Я полон ею...

(«Дни рождений»)

¹ «Московская правда», 1977, 12 июня.

Так оно и было, так складывался этот поэтический характер, в котором постоянно будет звучать мотив мужества, борьбы, преодоления, чистый, романтический звук трубы...

Хорошо помню, как жадно читала студенческая молодежь первую поэму Рождественского. Поэт по-маяковски атаковал мещанство, он боролся за свою любовь, за право человека на возвышенную мечту. Звонкий голос порою срывался, и тогда критические молнии били в пустое пространство, в абстракцию, но многое искупали неподдельная страсть, юношеская ненависть к бездуховности, пошлости, фальши. Имя студента Литературного института узнала и запомнила вся страна.

Роберт Рождественский вошел в литературу вместе с группой талантливых сверстников, среди которых выделялись Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Владимир Цыбин. Молодая поэзия 50-х начинала с броских манифестов, стремясь как можно скорее утвердиться в сознании читателей. Ей, конечно, помогла эстрада, казалось, сам стих тех молодых лет не мог существовать без звучания. Но прежде всего подкупал гражданский и нравственный пафос этой, внутренне разнообразной лирики, поэтический взгляд, который утверждает личность творящего человека в центре вселенной.

Посредине
двадцатого века
облетают
ржавые символы...
Будьте счастливы,
человеки!

Люди
умные.
Люди
сильные, —

писал Рождественский в стихотворении под знаменательным названием «Винтики» (1962).

Важные черты общественного сознания находили в молодой поэзии своего глашатая и пропагандиста. Надо также подчеркнуть, что в середине века по-новому раскрылись замечательные дарования художников старшей генерации, протянувших руку новому поэтическому поколению. Прежде всего речь идет об Александре Твардовском, Ярославе Смелякове, Леониде Мартынове, Владимире Луговском, Михаиле Светлове. Поэзия Роберта Рождественского особенно близка по мироощущению последним двум.

Сейчас, по прошествии времени, отчетливо видишь многие несовершенства молодой поэзии тех лет. Ей часто не хватало глубины и сосредоточенности. Но это была разведка боем, когда потери

стоят иных побед, потому что вслед за первопроходцами идут основные силы, решающие исход сражения.

Эта поэзия прокладывала пути в наше время, и без нее уже невозможно представить историю советской литературы. Рискну заметить, что достижения современной прозы с ее углубленным вниманием к нравственно-философским ценностям бытия были в определенной мере обеспечены и поэтической работой того поколения, о котором идет речь.

Оно смолоду ощутило себя звеном советской истории — это чувство надо было претворить в поэзию высокой судьбы, и стоит ли удивляться, что ошеломляющая тяжесть ответственности и славы не всегда оказывалась ему по плечу.

Рождественский выбрал наиболее трудный для поэта путь — лирической публицистики. В его стихах советское время открыто заявило о себе как часть исторического. Кровные связи настоящего с прошлым и будущим здесь не просто ощущаются, растворяясь в самой атмосфере произведения, они называются, подчеркиваются, на них ставится ударение. Лирический герой полностью сливается с личностью автора и в то же время постоянно воспринимает себя частью общего целого, сознательно стремясь выразить главные духовные запросы, опыт, порыв в будущее своих сверстников, товарищей по судьбе.

Трезвое знание, чувство личной ответственности за все худое и доброе, творящееся на родной земле, руководит поэтом. Зрелая вера наполняет его, вера в обыкновенных работающих людей, живущих рядом, истинных творцов истории, к которой поэт нередко обращается и от их имени.

«Сын Веры» — символическое заглавие одного из сборников Роберта Рождественского. Он органически ощущает себя сыном веры в революцию, в ленинские принципы советской жизни, которые надо ежедневно защищать в больших и маленьких сражениях. Об этом лучшие стихотворения поэта, посвященные темам высоко-го гражданского звучания: «Подкупленный», «Баллада о бессмертии», «Баллада о спасенном знамени», «Стихи о моем имени», «На земле безжалостно маленькой», «Говорите на советском», «Слушая радио», «Кому принадлежу», «Париж. Франсуазе Саган» и другие.

Лирика Рождественского быстро обрела общественный резонанс. Размышляя над природой этого успеха, Константин Симонов писал недавно: «Я особенно ценю в Роберте Рождественском завидную способность ставить трудные вопросы и размышлять над ними на глазах у читателя и публично, не робея гласности, искать и находить на них ответы, пусть не для всякого из нас обязательные, но неизменно вызывающие уважение чистотой, честностью,

убежденностью поисков. Конечно, не единою проблемностью жива поэзия, я это хорошо понимаю; но и поэзия без проблем — мертва, в этом я тоже глубоко уверен»¹.

В симоновском рассуждении схвачено характерное свойство поэзии Рождественского — постоянно пульсирующая современность, живая актуальность вопросов, которые он ставит перед самим собой и перед нами. Эти вопросы, как правило, касаются столь многих людей, что мгновенно находят отклик в самых различных кругах. Если выстроить стихи и поэмы Рождественского в хронологическом порядке, как это сделано в настоящем двухтомнике, то легко можно убедиться, что лирическая исповедь поэта отражает некоторые существенные черты, свойственные нашей общественной жизни последнего двадцатипятилетия, ее движение, возмужание, духовные обретения и потери.

Время выходит в стих, как в легкий воздух, и характер, биография лирического героя становятся выразителями пафоса наших дней.

1 Сначала — жажда странствий, путешествий, открытий дрейфующих арктических просторов и необитаемых островов любви. Стремление быть там, где труднее: Север, целинные земли, комсомольские стройки Сибири — незабвенные годы нашего студенчества.

2 Постепенно внешнее преодоление трудностей, весь географический антураж молодежной литературы того времени сменяются другим настроением — поисками внутренней цельности, твердой нравственной и гражданской опоры. В стихи Рождественского врывается публицистика, а вместе с ней и неутихающая память о военном детстве: вот где история и личность впервые драматически соединились, определив во многом дальнейшую судьбу и характер лирического героя.

Но связи глубже, они идут дальше в прошлое, в революционное первородство идей, которые мы сегодня исповедуем. Горизонты творчества расширяются. Современный человек в поэзии Рождественского начинает поверяться масштабом идеала. Он вырастает как сложная многогранная индивидуальность. Но одновременно ему предъявляется высокий идейный и нравственный счет, который способен оплатить далеко не каждый. В том числе и создатель поэзии:

Притворись
 большим и щедрым,
поlyingщим в ночи.
Будто ливень по ущельям,
по журналам грохочи.

¹ К. Симонов. Об избранных стихах Роберта Рождественского. — В кн.: Роберт Рождественский. За двадцать лет. М., «Художественная литература», 1973, с. 6.

делом, нередко еще встречающийся в нашей жизни и способный порождать потребительскую психологию, неверие в идеалы революции, особенно в среде молодежи.

Большое место в творчестве Роберта Рождественского занимает любовная лирика. Его герой и здесь целен, как и в других проявлениях своего характера.

Это вовсе не означает, что, вступая в зону чувства, он не испытывает драматических противоречий, конфликтов. Напротив, все стихи Рождественского о любви, начиная со знаменитого «Я уехал от весны» (1956), наполнены тревожным сердечным движением. Путь к любимой для поэта — всегда непростой путь; это, по существу, поиск смысла жизни, единственного и неповторимого счастья, путь к себе.

«Все начинается с любви» — программное стихотворение поэта. Так назван один из лучших его сборников, вышедший в 1977 году.

И в поэжном жанре Рождественский остается верен устойчивым чертам своего стиля. Приемы эпического изображения поэту, в общем, не свойственны, его поэмы насквозь пронизаны патетическим лиризмом, образ автора, как правило, занимает в них почти все художественное пространство. Ораторский пафос, экспрессивная интонация определяют и размеры этих произведений — они компактны и «длятся» столько времени, сколько хватает автору дыхания для непрерывного монолога, иногда усложняемого введением иных, тоже монологически выдержанных точек зрения.

Самую большую известность получила поэма «Реквием», посвященная памяти павших на фронтах Великой Отечественной войны. В ее десяти главах звучат десять стиховых мелодий — заклинаний, песен и плачей, где голос поэта вступает в перекичку с голосом матери, не дождавшейся сына, с голосами погибших воинов. Рождественский удачно использует русские песенно-фольклорные традиции; с опорой на них созданы отрывки «Черный камень», «Ой, зачем ты солнце красное...». На стихи «Реквиема» Дмитрием Кабалевским написана известная оратория.

Менее, на мой взгляд, удалась Рождественскому поэма «Письмо в тридцатый век». Автор сделал попытку обратиться к далеким потомкам и рассказать им о нашем времени. Замысел этот был, безусловно, интересен, однако его художественному воплощению помешало обилие общих, декларативных рассуждений. Но и здесь немало хороших мест, особенно — главы о любви. В «Поэме о разных точках зрения» ярко сказался полемический

талант Рождественского, его пафос неприятия всяческого рода ду-
ховного конформизма.

Фантастика «Сна», открывающего поэму, исполнена разящей
иронии. Из жизни исчез «вопросительный знак», ушли муки мысли,
поиски смысла жизни. Вопросительный знак отменен специальным
постановлением, ибо он

Не умеет
эпохально звенеть...
Заставляет временами
краснеть...
Не зовет,
не помогает в борьбе...
«Задается» —
значит, мнит о себе...
Если даже и ведет
иногда,
то заводит
неизвестно куда...
Решено:
недопустим компромисс!
Решено, что этот знак —
пессимист.

Давно замечено, что подлинный оптимизм здравомыслящ и
беспощаден в оценке отрицательных явлений действительности.
Поэтому с охранительной и конформистской точки зрения он
нередко предстает пессимизмом. Так понятия меняются местами,
и все ставится с ног на голову.

Равнодушному, лишь изредка опасливо озирающемуся взгля-
ду поэт решительно противопоставляет свою программу:

Надо верить
в судьбы и традиции.
Только пусть
во сне и наяву
жжет меня,
казнит меня
единственно
правильный вопрос:
«Зачем живу?»

В поэме «Посвящение», думая о судьбе первого в мире кос-
монавта, Рождественский продолжает, в сущности, задавать все
тот же единственно правильный вопрос. О подвиге Юрия Гагари-
на, о его жизни и трагической гибели у нас создано немало
поэтических произведений. Поэма Рождественского занимает сре-
ди них свое заметное, достойное место, а начальная ее глава

«Поехали...» и финал «О незаменимых» принадлежат, на мой взгляд, к самым проникновенным и сильным страницам его творчества.

Поэт и педагог Литературного института Александр Коваленков верно назвал однажды Роберта Рождественского поэтом-романтиком, обладающим «редкой способностью писать стихи для взрослых, но так, словно он рассказывает своим читателям об их детстве». И далее: «Рождественский умеет разговаривать стихами, писать для людей, обладающих хорошим слухом, он знает, что иной раз важнее, правильной акцентировать показывающее особенностью человеческого характера слово, нежели поражать множеством поэтических изобретений»¹.

В самом деле, Рождественский принципиально избегает формальных стиховых экспериментов. Он ставит слово и акцентирует его так, чтобы стремительно сократить дистанцию между автором и читателем. Этому нередко помогают юмор, ирония — краски весьма характерные для лирики Рождественского. Он вступает в духовный контакт с читателем, как говорится, с ходу. Многие стихотворения Рождественского открываются непосредственным обращением к другу, к любимой, к каждому из нас — читателей.

Хочешь,
оторву кусок от облака?..

* * *

Понимаешь,
трудно говорить мне с тобой...

* * *

Знаешь, друг,
мы, наверно, с рожденья
такие...

* * *

Давай покинем этот дом,
давай покинем...

* * *

Вслушайтесь!
Вглядитесь!
Убивают время.

* * *

Об этом, товарищ,
не вспомнить нельзя.

¹ Александр Коваленков. Права романтики. — «День поэзии», М., 1962, с. 130—131.

стихи не одухотворены глубокой мыслью, свежим образом, правдой лирического переживания.

Лучшие произведения Роберта Рождественского преодолевают это противоречие. Они остаются с нами как поэтическое свидетельство реального времени, его драматизма и героики. Они словно перенимают эстафету обнаженно исповедальной и атакующе нацеленной лирики Маяковского и утверждают в сознании читателей, особенно молодежи, незыблемую идейную и нравственную правоту исторического пути нашего народа.

Роберт Рождественский издал за четверть века поэтической работы свыше тридцати книг; многие из них переведены на языки народов СССР, выходили за рубежом. Поэт немало путешествует по свету, в его зарубежных стихах надежно живет «советскость» — чувство интернационального братства к людям Земли, объединенным стремлением к миру, к социальному освобождению и прогрессу.

Песни на его стихи поют в нашей стране миллионы. Рождественский обладает завидным даром интонации, — слова ложатся на музыку естественно, словно и не существовали без нее. Для песен поэта характерны два ведущих мотива: героическая патетика («За того парня», «Товарищ Песня», «Огромное небо», «Мгновения») и лирическая задумчивость («Стань таким», «Благодарю тебя», «Песня о далекой родине», «Позови меня»).

Поэзия Роберта Рождественского по достоинству увенчана премией Ленинского комсомола.

Отвечая некоторым критикам, призывающим современных поэтов писать в расчете «на века», «думать только о вечном», чураться публицистики, эстрады, непосредственного разговора с глазу на глаз с большой аудиторией, Рождественский пишет стихотворение «В день поэзии», в котором четко формулирует свое понимание поэтического творчества:

...Века
веками.
Поживем —
обсудим...
Но продолжайся,
ежедневный бунт!
Партийная,
по самой высшей сути,
поэзия,
не покидай
трибун!
Не покидай!
Твой океан безбрежен.
Есть где гудеть
разбуженным басами

Пусть в сотый раз
арбузом перезревшим
раскалывается
потрясенный
зал!
По праву сердца
будь за все в ответе,
о самом главном на земле крича.
Чтоб ветер Революции
и ветви
ее знамен
касались
плеча.

На том стоит коммунист Роберт Рождественский, один из самых популярных поэтов наших дней.

Евгений Сидоров

Из сборника
"ИСПЫТАНИЕ..
1951-1956



РЕЧКА ИНЯ

Над ущельями,
над сутолокой круч,
над дорогой,
убегающей вниз,
уцепившийся за солнечный луч,
жаворонок легкий повис.
Я его не слышу.
Для меня
жаворонок этот —
не в счет.

Я пришел туда,
 где течет
маленькая речка Иня.
Что, казалось бы, такого
 в ней?

Ручеек течет меж камней.
 Переплюнуть можно,
 вброд перейти,
 перепрыгнуть без усилий почти.
 Речка, речка!

Понимаешь ли ты,
почему по перекрученной тропе
я пришел твоей напиться воды,
я пришел за песней
к тебе?

...В белой пене,
 в тучах брызг
 сгоряча
 вниз, в долину,
 ты летишь с вышины,
 вдохновенно и сердито урча
 и локтями раздвигая валуны.
 Холод тонких
 мартовских льдин
 ты несешь в темно-зеленом нутре...
 У меня приятель есть один, —
 он скривился б,
 на тебя посмотрев.
 Он сказал бы, брови выгнув в дугу,
 оглядев твой бешеный бег:
 — Этих глупых
 маленьких рек
 я никак понять не могу.
 Для чего они?
 Кому нужны?
 И вообще зачем в них
 вода?
 Если в речке
 нет глубины,
 разве ж это речка тогда?
 Разве ж она сможет,
 звения,
 славу о себе
 пронести?..
 Ты прости его,
 речушка Иня!
 Несмышленный он еще.
 Ты прости.

ОЖИДАНИЕ

Так
любимых не ждут у порога.
Так
к больному не ждут и врача...
Пыль
на рыжих
степных дорогах —
хоть картошку пеки —
горяча.
Люди мнут фуражки в руках,
от полей глаза отводя...
Я впервые увидел,
как
ждут дождя.
Ждут,
выдумывая всевозможные сроки,
ждут, надеясь на чудо,
ждут,
матерясь:
— Пусть дороги развозит!
Плевать на дороги!
Лишь бы дождь.
Пусть тогда, хоть по горло,
грязь. —
А земля горит.
От жары —
как в броне.
А земля говорит:

— Помогите мне!
Без воды,
 без дождя
больше я не могу...
Помогите!
Ведь я
не останусь в долгу! —
Как ей скажешь:

 — Выдержи!
 Подожди! —

Чем поможешь?
Минуты, как вечность, идут...
Люди ждут и молчат.
Люди курят и ждут...

Ты мне пишешь:
в Москве у вас
 снова дожди.

Снова дождь.
По бульвару опять не пройдешь.
Снова дождь.
По обочинам мчат ручейки.
Дождь идет по Москве —
 теплый,
 ласковый дождь...

Там скрываются от него, —
 чудаки! —

надевают плащи,
открывают зонты,
начинают погоду ругать с утра,
ходят хмурые...

Если б увидела ты,
как, негаданно
 вымахнув из-за бугра,

мчит,
 дороги не разбирающий,
через поле
 к нам

 напрямик,
так пылящий,
 будто пылающий,
сельсоветовский грузовик.

Председатель выпрыгивает на ходу,
он кричит,
а глаза блестят, как от голода:
— Будет

дождь!
Мне сейчас...
звонили из города... —

Пошатнулся.
И дальше, словно в бреду: —
Туча...

мне звонили...
свернула сюда...

к нам идет...
Если мимо, то...
быть...
беде...

Ты мне пишешь,
что вам надоела вода.

Напиши,
напиши мне об этой воде!
О дождях напиши мне!
О том,

как тяжел
воздух перед грозой...
На погоду не жалуйся!
Напиши,
чтоб он был, этот дождь,
чтоб он шел!
Пожелай нам ливня,
пожалуйста.

В ПУТИ

Берега зеленые-зеленые
за кормою медленно растаяли,
волны
 цвета неопределенного
возле парохода ходят стаями.
Вряд ли полдень может быть удачнее.
Тишина.

 Вода как будто олово...
Девушка сидит на чемоданчике,
на руки склонив устало голову.
Ласковая,
 худенькая,
 стройная, —
как же пассажирам не дивиться ей?
Едет медицинскую сестрой она
в бывшую заштатную провинцию.
По дороге вязкой,
 будто вспаханной,
медсестра приедет поздним вечером
в городок,
 еще смолою пахнувший
и пока
 на картах не отмеченный.
К борту парохода с плеском ластятся
волны

 цвета неопределенного.
Едет девушка в цветастом платице,
в город свой заранее влюбленная...

ДВОЕ

Девчонки опаздывают на свиданья:
Так принято.

С этим надо считаться.
Летят они к месту,

где в ожиданье
ребятам осточертело скитаться.
Ребята в отчаянье кепки мнут
целых сорок минут.

Но они обидятся,
если вдруг им
начнешь —

про любовь и «порывы страсти»...

Они

запыхавшимся подругам
говорят как можно небрежнее:

«Здрассте!»

И все.

И мальчишке становится жарко.

Окинув веселую улицу взглядом,
он чинно шагает с девчонкой рядом,
боясь даже взять ее за руку.

Вместе им

и хорошо

и неловко,

но вот,

в себе заглушая ропот,

он предлагает попить газировки
и добавляет:

«С сиропом!!»

...Не смейся!

Давно ли мы сами были
такими?

Помнишь наши свиданья?

Помнишь, —

злясь на себя,
грубили

девчонкам,

наихитрейшим созданиям?

Помнишь?

Смеяться над этим не надо.

Как ее звали?..

Наташей.

Натой.

Где же ты, Натка?

Певунья Натка?

Смешные стихи в голубых тетрадках.

Возле реки пионерский лагерь.

К солнцу летящие флаги...

Улыбки прохожих не замечая,

мальчишка шагает рядом с девчонкой...»

Ты не мешай им.

Ты не смущай их.

Давай отойдем в сторонку.

О РАЗЛУКЕ

Ты ждешь его теперь,
когда
вернуть его назад
нельзя...

Ты ждешь.
Приходят поезда,
на грязных спинах
 принося
следы дорожных передряг,
следы стремительных дождей...
И ты,
наверно, час подряд
толкаешься среди людей.
Зачем его здесь ищешь ты —
в густом водовороте слов,
кошелоков,
 ящичиков,
 узлов,
среди вокзальной суеты,
среди приехавших сюда
счастливых,
 плачущих навзрыд?..

Ты ждешь.
Приходят поезда.
Гудя,
 приходят поезда...
О нем
никто не говорит.

И вот уже не он,
а ты,
как будто глянув с высоты,
все перебрав в своей душе,
все принимая,
все терпя,
ждешь,
чтобы он простил тебя...
А может,
нет его уже...
Ты слишком поздно поняла,
как
он тебе необходим.
Ты поздно поняла,
что с ним
ты во сто крат сильнее была...
Такая тяжесть на плечах,
что сердце
сплющено в груди...
Вокзал кричит,
дома кричат:
«Найди его!
Найди!
Найди!»
Нет тяжелее ничего,
но ты терпи,
но ты снеси.
Найди его!
Найди его.
Прощенья у него
проси.

* * *

А. К.

Приходить к тебе,
 чтоб снова
просто вслушиваться в голос
и сидеть на стуле, сгорбясь,
и не говорить ни слова.
Приходить,
 стучаться в двери,
замирая, ждать ответа...
Если ты узнаешь это,
то, наверно, не согласишься,
то, конечно, захочешь,
скажешь:
«Это ж глупо очень...»
Скажешь:
«Тоже мне —
 влюбленный!» —
и согласишься удивленно,
и не согласишься на месте.
Будет смех звенеть рекою...

Ну и ладно.
 Ну и смейся.
Я люблю тебя
 такою.

БЕЗ ТЕБЯ

Хотя б во сне давай увидимся с тобой.

Пусть хоть во сне

твой голос зазвучит...

В окно —

не то дождем,

не то крупой

с утра заладило.

И вот стучит, стучит...

Как ты необходима мне теперь!

Увидеть бы.

Запомнить все подряд...

За стенкою о чем-то говорят.

Не слышу.

Но, наверно, — о тебе!..

Наверное,

я у тебя в долгу,

любовь, наверно, плохо берегу:

хочу услышать голос —

не могу!

Лицо пытаюсь вспомнить —

не могу!..

...Давай увидимся с тобой хотя б во сне!

Ты только скажешь, как ты там.

И все.

И я проснусь.

И легче станет мне...

Наверно, завтра

почта принесет

письмо твое.

А что мне делать с ним?

Ты слышишь?

Ты должна понять меня —

хоть авиа,

хоть самым скоростным,

а все равно пройдет четыре дня.

Четыре дня!

А что за эти дни

случилось —

разве в письмах я прочту?!

Как эхо от грозы, придут они...

Давай увидимся с тобой —

я очень жду —

хотя б во сне!

А то я не стерплю,

в ночь выбегу

без шапки,

без пальто...

Увидимся давай с тобой,

а то...

А то тебя сильнее я полюблю.

* * *

Слова бывают грустными
слова бывают горькими.
Летят они по проводам
низинами,
пригорками.
В конвертах запечатанных
над шпалами стучат они,
над шпалами,
над кочками:
«Все кончено.
Все
кончено...»

Р

МОЯ ЛЮБОВЬ

(Поэма)

Поэма началась в груди,
грудь разорвать грозя.
Теперь ее,

как ни крути,
не написать

нельзя.

Я ею бредил по ночам,
берег ее, как жизнь.
Я на руках ее качал
и повторял:

— Пишись!

Пишись! —

Я требовал,

но мне

ответил ворох строк:

— Постой!

А был ли ты в огне?

Месил ли

пыль дорог?

Встречал ли ты в атаке смерть?

Привык ли ты дерзать?

И так ли знаешь жизнь,
чтоб сметь

о ней другим сказать?.. —

Сердце,

а что я знаю?

Ты подскажи мне тихо.

Знаю, что на Алтае
было село Косиха.
Было село —

я знаю —
крошечного значенья...
В речке вода парная
после грозы вечерней...
Сердце,

а что я помню?
Лес голубой стеною.
Помню — уходят кони
через село в ночное.
Помню еще я:

мама
на руки поднимала...
Сердце,

но это ж мало!
Это же очень мало!
Возле глухой ограды
чуть шелестит отава...
Сердце,

а может, правда,
я не имею права?
Пусть, затихая,

песня
будет на жизнь в обиде —
что расскажу я,

если
очень немного

видел.
Если мир перед глазами
был на диво мал... ^д

Мы о нем узнали сами
и из сказок мам.

Нам о нем твердили в школе;
чуть ли не с шести

мы учили,
что такое
дальние пути,
что такое гнев и жалость,
что такое честь...

Мы учились.

Нам казалось:
это
жизнь и есть.
Мы учились,
а взглядеться —
окажусь я неучем,
потому что,
кроме детства,
и сказать-то не о чем.
Вновь иди,
слова ищи
за семью широтами...
Вышли в жизнь товарищи
слишком желторотыми.
Вышли в жизнь романтики,
ум
у книг занявшие,
кроме
математики
сложностей не знавшие.
...Впервые взаправду дорога качала,
впервые мечты повели за собою,
впервые любовь
подказала начало
поэмы,
которая стала судьбою.
Сквозные вокзалы
и запахи дыма,
гудков паровозных протяжная медь,
слова,
что я говорил любимой,
мне приказали
сметь.

1

Протянуло солнце нити,
солнце бьет прохожим в лица.
Я прошу вас:
объясните,
что на улицах творится?

Что же это?

Как же это?

Это я

или не я?

Жмурясь весело от света,
ходят люди пьяные.

Ходят,

очень неумело

землю

пробуя шагами.

Кто-то с крыш просыпал мелочь,
и она звенит о камни,
разбивается на части.

Стены от капли мокнут.

Люди ходят

и от счастья

ничего сказать не могут.

Блещет вымытыми стеклами

мир —

сплошная новизна.

В мире наступила теплая,

настоящая весна...

А если к весне

прибавить письмо,

а если в письме написать:

«твоя»,

то кто б из вас выдержать это смог?

Не выдержал это

и я.

И вот — вагон!

Летающая тьма.

Бессонная ночь,

перестук колес.

Полсуток дороги —

и ты сама,

почти задохнувшаяся от слез,

от майского ветра...

Лентой прямой —

улица.

Площадь.

Обычный дом.

Твой голос:

«Вот здесь я живу...»

И мой:

«Может, к тебе —
потом?..»

Но ты,

подыскивая слова,
шепчешь, что нам все равно по пути,
что мама обидится,
что сперва
надо сюда
зайти.

И умоляющие глаза:

«Прошу...
Ну буквально на полчаса!»

2

Мою фигуру окинув косо,
откуда-то сбоку выплыла дама.

И я, как сквозь сон, услышал:

— Знакомься.

Это мама...

И мама, довольную мину сделав,
руку протягивая,

загудела,
что очень приятно,
что очень ждали,
что очень тронуты

и так далее...

И я продолжаю знакомиться с кем-то:
с троюродной теткой, с каким-то соседом,
с папашей...

А в комнате, как по паркету,
течет предобеденная беседа...
Беседа велась филигранно тонко.
Беседа текла до предела тонно.
По правилам

самого доброго тона
гостей угощали антоновкой.

Гости брали.
Гости хвалили.
Гости чинно благодарили...

...Спрашивает мама
об одном и том же.
Говорит,

что прямо
я ответить должен.
Требует ответа,
радость излучая:
— Правда,

что поэты
много получают? —
Я молчу вначале,
недоумевая,
и, пожав плечами,
говорю:

— Бывает...

А дальше —

тосты и слова,
понятные немногим.

А дальше —

у стола едва
не подгибались ноги.
Картинно лежали колбасные диски,
слезилось весеннее чудо —
редиска,
тугие, пупырчатые огурчики
лежали,

млея,

в зеленой кучке.

А рядом —

по виду неделю не спавший,
водицы болотной тише —
минут через десять

лежал папаша,
изрядненько днем хвативший.
Он мирно похрапывал в такт речам,
а кроме,
несколько раз,

когда тормозили,
«ура»
кричал,
не открывая глаз.
Потом он встал,
поплыл к окну
и, сдержанно икнув,
стал открывать с опаскою
«Советское шампанское».

Мне наливают первому
под трубные громы марша,
и вновь бутылку белого
несет на стол мамаша.
Глаза утирает платочком
и начинает тут же:
— Мы отдаем вам дочку.
Будьте ей добрым мужем! —
Потом,
толкнув супруга в бок
(чтоб он заплакал тоже),
свои слова итожит: —
Пусть вам поможет бог! —
Бокал мой

почти не бывает пуст...

А папа,
набрав винограда в горсть,
встает и пьяно бормочет:

— Пусть

что-нибудь скажет гость... —

Назвался груздем —

значит, держись...

Я поднимаюсь с места

и предлагаю выпить:

— За жизни! —

А тетка подсказывает:

— За совместную...—

Перекричать стараюсь зря —

со всех сторон

на все лады

довольная родня

«уря»

вопит
и пьет

«за молодых».

«Молодые» —

это мы с тобою.

Что ж, родная,

вроде по спектаклю

надо встать с улыбкою тупою,

выпить и раскланяться.

Не так ли?

Если делать все почти

так,

как в представлении,

надо к маме подойти

под благословение.

Надо под овации,

закусивши кое-как,

нам поцеловаться,

если крикнут:

«Горька-а-а!...»

...Довольно!

Ты знаешь,

становится жутко.

Зачем ты не скажешь,

что все это —

шутка?

Чего ж ты сидишь,

улыбаясь устало,

как будто уже

ничего не осталось?

3

Скажи, что — да!

Что — не права!

Любовь зови на помощь.

Остались в памяти слова,

осталось слово

«помнишь».

Помнишь...

А что ты помнишь?

(Вслушайся хоть немного.)

Помнишь:
 снежная полночь.
Медленная дорога.
Холодно.
 Кажется даже,
будто около —
 полюс...
Город одноэтажный
дремлет в снегу по пояс.
Улицы неживые
сумрачны и тихи.
Помнишь,
 тебе впервые
я прочитал стихи?
Снег летел и кружился.
 Он тихо садился на ветви,
на застывшую землю,
 на зябнущие дома...
Я о ветре читал,
 о весеннем,
 ликующем ветре,
о звенящих ручьях,
 о капелях,
 сводящих с ума!
Снег садился и таял,
 по капле стекая со щек.
Я о счастье читал,
 и дорога мне сказкой
 казалась!
А оно, это счастье,
 шло рядом и улыбалось.
И молчало.
И лишь иногда повторяло:
 — Еще.

Помнишь,
 как мы ждали
лета молодого?
Помнишь,
 мы мечтали
выбежать из дома?
По ручьям журчащим
зашагают ноги,

заберутся в чашу
хитрые дороги.
Там, где лес наполнен
сказками

да байками.
Там, где в жаркий полдень
мох как будто байковый.
Там, где спят озера
возле просек мглистых.
Росы,

будто зерна,
по утрам на листьях.
Смоляные дали.
Сказочное лето...
Помнишь,

как мечтали
мы
об этом?

4

Так что же получается?..
Несут
блины.

Пирушка не кончается,
хоть все пьяны...
Расхваливая яблоки,
мамаша на меня
смотрела,
как на ярмарке
глазеют на коня.
В ухмылочке кривила рот
и, оглядев до точки,
прикидывала вновь:

«Сойдет
за муженька для дочки».
Восторженные гости
шушукались о чем-то.
Я мог бы очень просто
все это бросить к черту!
Я мог бы хлопнуть дверью,
оставив где-то

там

и смех,
и недоверие,
и говорливых дам,
на что-то намекающих
то жестами, то глазками.
Я б мог

наверняка еще
сказать им
пару ласковых!
Таких,
чтоб мама охнула,
таких,
чтоб стекла тенькнули...
Но ты сидела около.
Не где-то.

Не за стенкою.
...Почему молчишь ты так?
Ты ведь рядом.

Ты — со мной.
Почему киваешь в такт
сплетнице очередной?
Или,
может быть,
ты права,
или такая же,
как они?
Или...

Попридержи слова.
Парень,
с выводом повремени!
Погоди!
И я смолчал с трудом.
Погоди!
И я уже сижусь.
Хорошо.
Посмотрим,
что — потом.

Я согласен.
Ладно.
Погожусь...

— Нет...

я лучше...

сейчас уйду...

Нет.

Мне надо скорей....

Нет!

Я пошел уже,

но сперва...

сказать тебе...

что-то хочу... —

Кружится,

кружится голова.

Кружится...

Я молчу.

Все перепуталось...

Правда...

Ложь...

Надо бежать

наутек...

И резкий голос в спину,

как нож:

— До скорой встречи,

зятек!

5

Сердце, слышишь?

Сердце, помоги мне!

Помоги мне отыскать потерю.

Сердце!

Самое святое гибнет!

То, чем жил я.

То, во что я верил.

Оказался очень трудным путь.

Помощь не окажут мне врачи.

Слышишь, сердце?

Слышишь, не молчи!

Помоги.

Скажи мне что-нибудь...

А сердцу что?

Стучит оно

и не дает ответа.

Немало книг прочитано
про это.
Задачи сложные не ждут
спокойствия души.
Они встают

и там
и тут.

И требуют:

Реши!

Реши!

А то тебе —

не жить!

И время не тяни.

Скорей реши!

А как

решить —

не говорят они...

Нас вначале не касалась
жизни трудная огромность.

Нам вначале

жизнь казалась

очень тихой,

очень ровной.

Как на кафельные плиты

вышли мы в недавнем прошлом
в жизнь,

где ставились конфликты
только «лучшего»

с «хорошим».

Мы проверяли это,

мы сгоряча спешили,

нам

давали советы

мудрые старожилы.

Нам советы давали

и, разводя руками,

наши мечты называли

«розовыми очками»...

Это не розовые очки!

Это не розовые мечты!

Вышли безусые пареньки

в мир,

где тропы круты!

Вышли учиться и побеждать,
вышли работать,
но,
где б они ни были,
все равно
будут они мечтать!
И по дороге
самой крутой,
вздыбленной в высоту,
будут идти они за мечтой,
осуществлять мечту!

6

Я слушать согласен любые укоры.
Я мыслями с каждым готов поделиться...
Пусто.

Кажется: вымер город.
И только один старшина милиции
стоит на углу,

тишину храня,
бдительно вглядывается во тьму.
И я, торопясь, подхожу к нему
и говорю:

— Извините меня!
Может, не спрашивать было бы проще,
но вы понимаете сами:

весна...
Я был сейчас в доме...

в том...
через площадь...

Там есть одна девушка... —

А старшина
сурово откашлялся

и потом
вежливо, но безучастно:
— В котором доме вы были?

В том?

Так это не мой участок. —

Но я опять:

— Да нет же...

Послушайте!

Мне одному разобраться сложно...

Я вам хочу...

— Гражданин,

на службе

меня отвлекать не положено.

Идите проспитесь... —

Что ж,

и пойду.

Но вряд ли поможет это...

Иду я по городу

и в бреду

у мамы прошу совета...

— Мама, видишь

на деревьях почки

вздрагивают от порывов ветра?

Мама,

я пошлю тебе по почте

сразу десять голубых конвертов.

Я устал до головокружения.

Мама,

ты, пожалуйста, прости —

жить на свете,

принимать решения

оказалось очень не простым.

Ты не жалела сил, —

только бы сын

не пил,

лишь бы он умным стал,

лишь бы не голодал...

Мама!

Я по горло сыт!

Мама,

я не буду пить.

Только я хочу спросить:

как

мне

быть?

Как же это?

Что же это?

Может, просто

я

упрямый

и забыл твои советы,
мама?
Мама...

Спросить бы!
Друзей на помощь позвать бы!
Но речь у многих одна:
— Чего там думать!
Кутнем на свадьбе.

Валяй, смелей, старина!
Не ты последний!
Так что не трусь,
над чепухой не бейся! —
И сразу же

сжавшихся пальцев хруст
глушит

глупая песня:
«Заварилась баня.
Затянула тина.
Окрутили парня
очень примитивно».

7

Теперь настанут
мир и тишина.
Теперь не скажут люди ничего.
Остались только шуточки:

«Жена
да убоится мужа своего».
Но жены удивятся и к тому ж
напомнят нам с улыбкой неземной,
что, дескать, в расшифровке

слово

«муж» —

Мужчина,
Угнетаемый
Женой.

Все так, как надо.
Если не спешить,
жизнь утрясется.
Все на место ляжет.
Посмотрим на людей и станем жить

без глупостей,
без выдуманной блажи.

Все как надо.

Но уже

дамы шутят с вызовом:

— С милым рай и в шалаше,
если

с телевизором. —

Я слышал такое.

Я знаю такое.

И я ни за что не останусь спокойным!

Меня прерывают:

— А собственно, кто ты?

С чего ты

рассказываешь анекдоты?

Зарвался?

Сатирика

корчишь?

Не смешно,

а скорее — тошно!

Ты, приятель,

неважно кончишь.

Это точно!

В вопросах жизни ты круглый ноль,

Тебе ли про это строчить?!
Понять захотелось?

Пожалуйста, ной!

Но что же ты лезешь учить?

Ты говоришь, что в сердце —

боль.

Ты требуешь участия.

Давай поговорим с тобой

об этом самом счастье.

Ты раньше, дурень,

сох и чах

все время,

а теперь

имеешь дом и свой очаг.

Чего ж еще тебе?

Добра жена да жирны щи —

другого счастья

не ищи.

Наберись терпения,

будь разумным
и
очень скоро гением
станешь
(для семьи).
Будешь ты для женушки
песенки мычать
и кропать стишоночки
в местную печать...

Есть решение мирное
сложного вопроса, —
понимаешь,
 милая,
можно сделать просто:
если сердце теплится,
вздор из мыслей
 выкинем,
слюбится —
 стерпится,
поживем —
 привыкнем.
Нарисуем, если нужно,
радость на лице.
Будем строить очень дружно
счасть-

и-
 це!
Будет не жизнь, а сплошные улыбки,
Ходит на цыпочках женушка.
Муж
 жену
 называет «рыбкой».
Мужа
 жена —
 «медвежоночком».

Рай да и только!
И ссориться нечего.
Оба взаимно вежливы.
Мужа
 жена
 развлекает вечером
сплетнями самыми свежими,

А он,
 не смыкая опухших век,
глухо бубнит ночами:
какой хороший он
 человек
и какой негодяй
 начальник...

И все это будет не просто на месяц.
Ты слышишь?
Навечно

 такое дают нам!
И всю эту гнусную,
 тихую мерзость
кто-то назвал
уютом?!
Родная!

 Неужто и сердце
 и тело
за это
ты мне отдала под защиту?
Но если ты этого счастья хотела,
этого счастья во мне
 не ищи ты!..

Я жить не хочу,
 о покое мечтая,
жить,
накапливая добро,
жить,
 пределом счастья считая
столовое серебро,
буфет, до краев набитый посудой,
нервно звенящей на каждом шагу...
Родная, слышишь?

 Уйдем отсюда!
Уйдем!
Я здесь дышать не могу!..
Я тебе напомню про рассветы
и про то, как писем ты ждала...

Неужели ты забыла это?
Неужели ты тогда...
 лгала?

Если так, то надо решить,
надо сразу выбрать пути.
Я любовь

задушу в груди,
но останется сердце
жить.

Сердце!
Звонкой струною стань,
на предельной ноте сдержись!
Слышишь?

Биться не перестань:
это —
лишь начинается
жизнь!

Пусть пока
немало людишек,
травки ниже,
водицы тише,
очень гладких
и, между прочим,
с виду непогрешимых очень.
Не собьет их вроде и шторм.
Мельтешат они

там и тут.
За уютom портьер и штор
очень тихо они живут.
В меру подленьки,
в меру умны,
семянат проторенной дорогою.
Им плевать

на дела страны,
их заботы ее

не трогают!
Им пока еще горя нет.
Их пока еще носит земля...

С кем ты, милая?
Дай ответ!

До конца,
не тая,
не юля.
Я с тобою резок.
Но пусть!
Я не ангел и не святой.
У меня характер крутой —
может, я
 не раз ошибусь.
Я не так богат
 и деньгу
по кубышкам не берегу.
Сладкой жизни
не предложу.
Но тебе я вот что скажу:
если только хочешь —
 решись,
если только сможешь —
 приди!

Это будет
 честная жизнь
до последнего стука в груди.
Это будет жизнь для людей,
это будет пора труда,
в ней
 обходных искать путей
не посмею я никогда.
Не смогу пройти стороной
и солгать
 хотя б невзначай...

С кем ты?
С ними
 или со мной?
Слышишь ты?
Отвечай!

Из сборника
„ДРЕЙФУЗОВИЊ
ПРОСНЕКМ.“
1956-1959

100

101

102

103

104

105

* * *

Я уехал
от весны,
от весенней кутерьмы,
от сосулечной
апрельской
очень мокрой бахромы.
Я уехал от ручьев,
от мальчишечьих боев,
от нахохлившихся почек
и нахальных воробьев,
от стрекота сорочьего,
от нервного брожения,
от головокружения
и прочего,
и прочего...

Отправляясь в дальний путь
на другой конец страны,
думал:
«Ладно!
Как-нибудь
проживем и без весны...
Мне-то, в общем,
все равно —
есть она иль нет ее.
Самочувствие мое
будет неизменным...»
Но...

За семь тысяч верст,
в Тикси,
прямо среди бела дня
догнала весна
меня
и сказала:

«Грязь меси!»
Догнала, растеребя,
в будни ворвалась
и в сны.

Я уехал
от весны...
Я уехал
от тебя.
Я уехал в первый раз
от твоих огромных глаз,
от твоих горячих рук,
от звонков твоих подруг,
от твоих горючих слез
самолет меня
унес.

Думал:
«Ладно!
Не впервой!
Покажу характер свой.
Хоть на время
убегу...

Я ведь сильный,
я —
смогу...»
Я не мерил высоты.
Чуть видна земля была...
Но увидел вдруг:
вошла
в самолет летящий
ты!

В ботах,
в стареньком пальто...
И сказала:
«Знаешь что?
Можешь не убегать!
Все равно у тебя из этого
ничего не получится...»

ОБЛАКА

Хочешь,
оторву кусок от облака?
Вот от этого...
Смотри, какое пухлое...
Проплывает

белой

свежевыпеченной булкой.
На семи ветрах оно замешано,
приготовлено
в дорогу дальнюю...
Солнечный разлив
и тьма крошечная
потрудились над его созданием...
Посмотри:
растет оно и пыжится,
будто в самом деле —

именитое.

Так сурово и надменно движется,
будто все оно —

насквозь! —

гранитное,

монолитное,
многопудовое,
диктовать условия готовое.
Раздувается с довольной миною
и пугает неоглядной толщью:
«Захочу —

и я вас уничтожу!

Захочу, —
наоборот, —
помилую...»
Мне еще все это незнакомо.
Мне, —
сказать по правде, —
страшновато...

Ну, а если облачная вата
в горле у мотора
встанет комом?

Ну, а если небо занавесится
и на нас навалится с опаскою?..

Самолет
по очень длинной лестнице
лезет

к богу самому за пазуху...
Бортмеханик говорит спокойно,
глядя на меня из-под бровей:
— Это все, приятель,
пустяковина...

Будем живы!
Ты уж мне
поверь... —

Он читает «Расщепление атома»
и поет про свежесть васильков...

Мы летим на север.
Скоро Андерма.
Мы летим.
Мы выше
облаков.

НЕМНОГО ЭКЗОТИКИ

Ну, и как там?

(Вопрос, на который
очень трудно ответить)

На улице,
 как и вчера, —
 холодина,
снег,
 поземка...
Впрочем,
«улица» —
 это большая льдина,
от других отличающаяся
не очень.
Разве что чуть побольше
(а все ж таки край —
 недалече).
Разве что чуть покрепче
(но это мы скажем позже,
скажем:
«Спасибо,
 льдина!
Выдержала, молодчина...»).
Пока
 от похвал воздержаться
особая есть причина.
Дело совсем не в страхе!
Не в том,
 чтобы кто-то сдрейфил

и вместе с началом дрейфа
начались

«охи» и «ахи».

У нас хорошая льдина —
ее выбирали не зря, —
вполне приличная льдина,
но все ж таки —

не земля.

Но все ж таки там,
под нею,
такая вода темнеет,
таким леденящим светом,
что лучше...
не будем об этом...
Не надо!

Кому охота...

Это я просто к слову...

День начинается новый
не с солнечного восхода.
Всему удивляться

какой резон?

Но странно
считать в порядке вещей,
что солнце
из принципа
вообще
не уходит за горизонт.
Мерцает

маленькое пятно

сквозь выцветшую пелену...

Но если ты очень устал,

то оно

вполне заменяет луну...

По радио
диктор неунывающий
нас будит

в восемь часов утра —

в Москве:

«Спокойной ночи, товарищи!» —
значит, вставать пора...

Пора...

И уже минут через пять
мы щури́м глаза́ от света...
«Как ны́нче по́года?
Ветер о́пять?»
Нет, это не ветер.
Это,
примериваясь
 для посадки на лед,
лопастями винтов шевеля,
с достоинством в небе
 висит вертолет —
гибрид головастика
и шмеля,

МИРАЖ

Дежурный закричал:
— Скорей сюда!
Мираж!
Смотрите!
Все сюда!
Скорей... —
И резко отодвинута еда.
И мы вываливаемся из дверей...

Я ждал всего.
Я был готов к любому:
к цветам и пальмам
в несколько рядов,
к журчащему прибою голубому,
к воздушным башням
древних городов...

Ведь я читал,
как над песком
бесстыдно
вставали

эти памятники лжи.

Ведь я читал,
как жителей пустыни
с дороги уводили

миражи...

Ведь я читал,
ведь я об этом знаю:
слепящим днем,

как в полной темноте,
шагали
люди,
солнце проклиная,
брели
к несуществующей воде...

Но здесь...
— Да где мираж?!
— А очень просто...
Туда смотри...

Я замер,
поражен:
на горизонте
плавали
торосы

вторым,
не очень ясным этажом.
Они переливались
и дрожали...

Я был готов к любому.
Ждал всего...
Но Арктика!
Ты даже

миражами
обманывать
не хочешь никого.

«ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ»

Сочетание «88-С» по коду
радиостов означает «целую».

Понимаешь,
трудно говорить мне с тобой:
в целом городе у вас —
ни снежинки.

В белых фартучках
школьницы идут
гурьбой,

и цветы продаются на Дзержинке.

Там у вас — деревья в листе...

А у нас, —

за версту,

наверное,

слышно, —

будто кожа новая,

поскрипывает наст,

а в субботу будет кросс

лыжный...

Письма очень долго идут.

Не сердись.

Почту обвинять

не годится...

Рассказали мне:

жил один влюбленный радист

до войны

на острове Диксон.

Рассказали мне:
 был он
не слишком смел
и любви призыв
 сторониться...
А когда пришла она,
 никак не умел
с девушкой-радисткой
 объясниться...

Но однажды
в вихре приказов и смет,
график передачи ломая,
выбил он
«ЦЕЛУЮ!»
И принял в ответ:
«Что передаешь?
Не понимаю...»

Предпоследним словом
 себя обозвав,
парень объясненья не бросил.
Поцелуй
восьмерками зашифровав,
он отстукал:
«ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ!»
Разговор дальнейший
был полон огня:
«Милая,
пойми человека!
(Восемьдесят восемь!)
Как слышно меня?
(Восемьдесят восемь!)
Проверка».

Он выстукивал восьмерки
 упорно и зло,
Днем и ночью.
В зиму и в осень.
Он выстукивал,
 пока
в ответ не пришло:
«Понимаю,
восемьдесят восемь...»

Я не знаю,
 может,
все было не так.
Может, —
более обыденно,
 пресно...

Только верю твердо:
жил такой чудак!
Мне в другое верить
неинтересно...

Вот и я
молчание
 не в силах терпеть!
И в холодную небесную просинь
сердцем
 выстукиваю
 тебе:

«Милая!
Восемьдесят восемь...»
Слышишь?
Эту цифру я молнией шлю.
Мчат ей
 чрез горы и реки...
Восемьдесят восемь!
Очень люблю.
Восемьдесят восемь.
Навеки.

Над моими склонами
неслышно
ходят рыбы
легкими стадами.
Водоросли медленно колышут
синими
густыми бородами.
Бродят неуверенно и немо
зыбкие,
кисельные медузы...

Надо мною
вместо глыбы
неба
океан лежит
великим грузом.
Эту тяжесть подперев руками,
я стою,
крутую выгнув спину.
Снизу мне
дрейфующие льдины
кажутся
большими облаками...

Не хочу,
чтоб жизнь без цели гасла!
Жду,
наверно, миллионный день я,
чтобы вам
отдать свои богатства;
чтобы вы
пришли в мои владенья...
Я —
ровесник вашего Урала!
Я уже ущельями
разорван...

Приходите!
Подарю вам зерна
драгоценного, как жизнь,
урана...
Приходите!
Говорю, как старший.

Вас
зову
не за подачкой тощей...
Я раскрою
угольные толщи
(вам
такое
и не снилось даже!).
Вашим домом стану и оплотом,
подарю вам
золотые жилы...
Хватит
спину мне царапать лотом!
Присылайте помудрей
машины!
Я
своею каменною грудью
вас от всех опасностей
прикрою,
напою вас
собственною кровью...
Присылайте умные орудья...

Жаль, что нет пока
таких орудий.
Их еще выдумывают
люди.

НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА

Нет погоды над Диксоном.

Есть метель.

Ветер есть.

И снег.

А погоды нет.

Нет погоды над Диксоном третий день.

Третий день подряд

мы встречаем рассвет

не в полете,

который нам по душе,

не у солнца,

слепающего яростно,

А в гостинице.

На втором этаже.

Надоевшей.

Осточертевшей уже.

Там, где койки стоят в два яруса.

Там, где тихий бортштурман Леша

снисходительно,

полулежа,

на гитаре играет,

глядя в окно,

вальс задумчивый

«Домино».

Там, где бродят летчики по этажу,

там, где я тебе это письмо пишу,

там, где без рассуждений

почти с утра, —

за три дня,
наверно, в десятый раз, —
начинается «северная» игра —
преферанс.
Там, где дни друг на друга похожи,
там, где нам

ни о чем не спорится...

Ждем погоды мы.
Ждем в прихожей
Северного полюса.
Третий день

погоды над Диксоном нет.

Третий день...

А кажется:

двадцать лет!

Будто нам эта жизнь двадцать лет под стать,
двадцать лет, как забыли мы слово:

летать!

И обидно.

И некого вроде винить.

Телефон в коридоре опять звонит.

Вновь синоптики,
самым святым клянясь,
обещают на завтра
вылет

для нас...

И опять, как в насмешку,
приходит с утра
завтра,

слишком похожее

на вчера.

Улететь —

дело очень не легкое,

потому что погода —
нелетная.

...Самолеты охране поручены.

Самолеты к земле прикручены,
будто очень опасные

звери они,

будто вышли уже

из доверья они.

Будто могут
плюнуть они на людей!
Вздоргнуть!
Воздух наполнить свистом.
И — туда!

Сквозь тучи...

Над Диксоном
третий день погоды нет.
Третий день.
Рисковать
приказами запрещено...

Тихий штурман Леша
глядит в окно.
Тихий штурман
наигрывает «Домино».
Улететь нельзя все равно
ни намеренно,
ни случайно,
ни начальникам,
ни отчаянным —
никому.

УШЕЛ САМОЛЕТ

Вам каждый второй расскажет
невидуманную историю, —
(об этом
не пишут в газетах,
песен об этом
не слышно),
но я видел сам однажды:
ушел самолет на Викторию.
Ушел самолет, покачиваясь.
Ушел самолет,
и крышка...

Одиннадцать дней радисты
усталых глаз не смыкали.
Обшаривали пилоты
каждый клочок земли.
Людей,
потерпевших бедствие,
одиннадцать дней искали.
А на двенадцатый
утром
радировали:
«Нашли!»
Нашли?
Но тогда скажите,
зачем же, кусая губы,
начальник аэропорта
не смотрит в глаза другим?

Кому эти черные ленты?
Зачем же оркестр из клуба
в притихшем

 маленьком зале
негромко играет гимн?..

Упругий морозный воздух

 морзянка сечет на части,
земля беспокойно вздрагивает,
известием растревожена...

И сообщают об этом

женам одним

да начальству.

Женам —

 так, как приказано.

Начальству —

 так, как положено...

А в доме возле Арбата

матери верили снам.

Им снилась немая пустыня

 без края и без конца

Белесый сынишка штурмана

проплакал в тот день допоздна

под огромной картой Арктики

 в кабинете отца...

По-прежнему шли самолеты

 трассой предельно трудной.

По-прежнему

долгим вьюгам

 никто не хотел сдаваться...

И над молчаливыми льдами,

над бесконечной тундрой

висели на ниточках звезды,

готовые

 оборваться.

Вот машина идет на ощупь,
еле двигается

машина.

Спотыкаясь,
не там саорачивая,
останавливаясь порою,
ходят люди,
будто незрячие,
руки выставив перед собою.
Озираются непонимающе,
повторяют:
— Ну и туманище...

Объясняя это явление,
эрудицией
жителей радуя,
обещает на завтра
радио
незначительное потепление.
Забирается стужа в валенки,
и слова застревают в горле...

Как накурено
в этом городе,
очень старом
и очень маленьком.

АВРАЛ

Мы ящиков не выбираем полегче...
Натружены руки.
Оттянуты плечи.
Не гнутся,
но кажутся ватными
пальцы...

Упасть бы сейчас
и в снегу отоспаться!
На десять минут бы!
На десять...

Но снова,
палаточный город
собой сотрясая,
врывается слово,
взрывается слово:
«АВРАЛ!!!»

...Очень медленно
движутся
сани.

Как будто стальные.
Как будто из камня.
Скрипя,
подаваясь почти незаметно, —
то плавно,

а то вдруг толчками,
рывками, —
еще на полметра.
Еще на полметра...
А снег под ногами
предательски порист...

И лезем мы,
на руки яростно дуя,
шатаясь,
проваливаясь по пояс,
по ровному полю,
как в гору крутую.

Холодное солнце
идет небесами...

Глаза застилает.
Дышать уже нечем.
Оттянуты руки.
Натружены
плечи.

Но движутся сани.
Но движутся сани!

...Мне долго еще будет сниться такое:
нежданной
приходит Большая Работа...
Полундра! —
и мы поднимаемся с коек.
Аврал! —
и рубахи дымятся
от пота.

РОВЕСНИКАМ

Артуру Макарову

Знаешь, друг,
мы, наверно, с рожденья
такие...

Сто разлук
нам пророчили
скорую гибель.

Сто смертей
усмехались беззубыми ртами.
Наши мамы
вестей
месяцами от нас ожидали...

Мы
росли —
поколение
рвущихся плавать.

Мы пришли
в этот мир,
чтоб смеяться и плакать,
видеть смерть
и, в открытое море бросаясь,
песни петь,
целовать неприступных красавиц!
Мы пришли
быть,
где необходимо и трудно...
От земли
города поднимаются круто.

Век
суров.
Почерневшие реки
дымятся.

Свет костров
лег на жесткие щеки
румянцем...

Как всегда,
полночь смотрит
немыми глазами.

Поезда
отправляются по расписанию.
Мы ложимся спать.
Кров родительский
сдержанно хвалим...

Но
опять
уезжаем,
летим,
отплываем!

Двадцать раз за окном
зори
алое знамя подымут...

Знаю я:
мы однажды уйдем
к тем,
которые сраму
не имут.

Ничего
не сказав.
Не успев попрощаться...

Что
с того?
Все равно это —
слышишь ты? —

счастье.
Сеять хлеб
на равнинах,
ветрами продутых...

Жить взахлеб!
Это здорово кто-то придумал!

Не зовите ко мене врача.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Четырнадцать часов полета,
и —

Москва...

Молчи.

Не говори ненужные слова...

Аэродром.

Синеющий лесок.

Через него —

шоссе наискосок.

Недвижна голубая крутизна...

Стоим —

оглушены,

удивлены.

Деревьями и воздухом

пьяны...

«Вот мы и возвратились, старина!»

...И можно,

никого не удивив,

шоферу крикнуть:

«Эй!

Останови!»

Быть наяву,

не выходя

из сна, —

упасть в траву,

услышать, как растет она.

Из сборника
"НЕОБИТАЕМЫЕ
ОСТРОВА..
1959-1962

В СОРОК ТРЕТЬЕМ

Везет
на фронт
мальчика
товарищ военный врач...
Мама моя,
мамочка,
не гладь меня,
не плачь!
На мне военная форма, —
не гладь меня при других!
На мне военная форма,
на мне
твои сапоги.
Не плачь!
Мне уже двенадцать,
я взрослый
почти...
Двоятся,
двоятся,
двоятся
рельсовые пути...
В кармане моем документы, —
печать войсковая строга.
В кармане моем документы,
по которым
я — сын полка.

Двоятся,
двоятся,
двоятся
рельсовые пути.
Поезд идет размеренно,
раскачиваясь нелепо, —
длинный
и очень медленный,
как очередь
за хлебом...

ЖИЗНЬ

Г. П. Гроденскому

Живу, как хочу, —
светло и легко.
Живу, как лечу, —
высоко-высоко.
Пусть небу
 смешно,
но отныне
ни дня
не будет оно
краснеть за меня...
Что может быть лучше —
собрать облака
и выкрутить тучу
над жаром
 песка!
Свежо и громадно
поспорить с зарей!
Ворочать громами
над черной землей.
Раскидистым молниям
душу
 открыть,
над миром,
над морем
раздольно
 парить!

Я зла не имею.
Я сердцу не лгу.
Жизну, как умею.
Живу, как могу.
Живу, как лечу.
Умру,
 как споткнусь...
Земле прокричу:
«Я ливнем
вернусь!»

ПОД ВОДОЙ

С головою накрыла,
понесла,
закружила волна...

И меня обступила,
обняла тишина,
тишина...
Запотевшая маска.
Прохладная
 синяя жуть...

Обитателем
 Марса
себе самому я кажусь.
Можно быть невесомым,
можно птичий полет повторить.
Можно тихо и сонно
в бездонном пространстве
 парить.

Можно весело ринуться
в темноватую,
 длинную глубь
и руками зарыться
в сплетенье невиданных клумб...
Здесь колышутся водоросли
медленно,
не торопясь...

Можно
 в заросли пестрые,
как в свежее сено,
упасть!
Здесь ни всплеска,
 ни всхлипа, —

тишина
говорить не велит...
Онемевшая рыба
губами слегка шевелит.
Камни в рыжих каплях, —
лоснящиеся бока.

Царство
 медленных крабов,
неслышное царство песка.
Одиноко и тускло
мелькнула кефаль в стороне.
Виснет льдышка медузы,
покорная тишине.
Тишина

 нарастает.
Тишина за спиною встает...

Мне здесь грохота
не хватает!
Мне ветра
недостает!

НЕОБИТАЕМЫЕ ОСТРОВА

Снятся усталым спортсменам рекорды.
Снятся суровым поэтам слова.
Снятся влюбленным
в огромном городе
необитаемые
острова.

Самые дальние,
самые тайные,
ветру открытые с трех сторон,
необнаруженные,
необитаемые,
принадлежащие тем,
кто влюблен.

Даже отличник
очень старательный
их не запомнит со школьной скамьи, —
ведь у влюбленных
своя география!
Ведь у влюбленных
карты
свои!
Пусть для неверящих
это в новинку, —
только любовь
предъявила
права.

Верьте:
 не сказка,
верьте:
 не выдумка —
необитаемые острова!..

Все здесь простое,
все самое первое —
ровная,
 медленная река,
тонкие-тонкие,
белые-белые,
длинные-длинные
 облака.

Ветры,
которым под небом не тесно,
птицы,
поющие нараспев,
море,
бессонное, словно сердце,
горы,
уверенные в себе.
Здесь водопады
 литые,
 летающие,
мягкая,
трепетная трава...
Только для любящих
 по-настоящему

эти
великие острова!..
Двое на острове.
Двое на острове.
Двое — и всё!..
А над ними —
 гроза.

Двое —
 и небо тысячеверстное.
Двое — и вечность!
И звезды в глаза..
Это не просто.
Это не просто.

Это сложнее любого
в сто крат...

В городе стихшем
на перекрестках
желтым огнем светофоры горят.
Меркнет

оранжевый отблеск неона.
Гаснут рекламы,
гуденье прервав...

Тушатся окна,
тушатся окна
в необитаемых
островах.

ИГРА В «ЗАМРИ!»

Ю. Овсянникову

Игра в «Замри!» —
веселая игра...
Ребята с запыленного двора,
вы помните, —
с утра и до зари
звенело во дворе:
«Замри!..»
«Замри!..»
Порой из дома выйдешь, на беду, —
«Замри!!» —
и застываешь на бегу
в нелепой позе
посреди двора...
Игра в «Замри!» —
далекая игра,
зачем ты снова стала мне нужна?
Вдали от детства
посреди земли
попробовала женщина одна
сказать мне позабытое:
«Замри!»
Она сказала:
будь неумолим.
Замри!
И ничего не говори.
Замри! —
она сказала. —

Будь
 моим!
Моим — и все!
А для других —
 замри!
Замри для обжигающей зари.
Замри для совести.
Для смелости замри.
Замри,
не горячась и не скорбя.
Замри,
Я буду миром
 для тебя!..

На нас глядели звездные миры.
И ветер трогал жесткую траву...
А я не вспомнил
 правила игры.
А я ушел.
Не замер.
Так живу.

РЕВНОСТЬ

Игру нашли смешную,
и не проходит
дня —

ревнуешь,
ревнуешь,
ревнуешь ты меня.
К едва знакомым девушкам,
к танцам под баян,
к аллеям опустевшим,
к морю,
к друзьям.
Ревнуешь к любому,
к серьезу,
к пустякам.
Ревнуешь к волейболу,
ревнуешь к стихам...

Я устаю от ревности,
я сам себе
смешон.
Я ревностью,
как крепостью,
снова окружен...
Глаза твои
колются.
В словах моих
злость...

«Когда все это кончится?!
Надоело!
Брось!!»

Я начинаю фразу
в зыбкой тишине.
Но почему-то
страшно
не тебе,
а мне.
Смолкаю запутанно
и молча курю.
Тревожно, испуганно
на тебя смотрю...

А вдруг ты перестанешь
совсем ревновать!
Оставишь,
отстанешь,
скажешь:
наплевать!
Рухнут стены крепости, —
зови
не зови, —
станет меньше
ревности
и меньше
любви...
Этим всем замотан, —
у страха в плену, —
я говорю:
«Чего там...
Ладно уж...
Ревнуй...»

БОГИНИ

Давай покинем этот дом,
давай покинем, —
нелепый дом,
набитый скукою и чадом.
Давай уйдем к своим домашним богиням,
к своим уютным богиням,
к своим ворчащим...
Они, наверно, ждут нас?
Ждут.
Как ты думаешь?
Заварен чай,
крепкий чай.
Не чай — а деготы!
Горят цветные светляки на низких тумбочках,
от проносящихся машин
дрожат стекла...
Давай пойдем, дружище!
Из-за стола встанем.
Пойдем к богиням,
к нашим судьям бессонным.
Где нам обоим
приговор уже составлен.
По меньшей мере мы приговорены —
к ссоре...
Богини сидят,
в немую тьму глаза тараща.
И в то,
что живы мы с тобою,
верят слабо...

Они ревнивы так,
 что это даже страшно.
Так подозрительны,
 что это очень странно.
Они придумывают разные разности,
они нас любят горячо и неудобно.
Они всегда считают
 самой высшей радостью
те дни, когда мы дома.
Просто дома...
Москва ночная спит
 и дышит глубоко.
Москва ночная
до зари ни с кем не спорит...

Идут к богиням
 два не очень трезвых
 бога.

Желают боги одного:
быть собою.

* * *

**Будь, пожалуйста,
послабее.**

Будь,
пожалуйста.
И тогда подарю тебе я
чудо
запросто.
И тогда я вымахну —
вырасту,
стану особенным.
Из горящего дома вынесу
тебя,
сонную.
Я решусь на все неизвестное,
на все безрассудное, —
в море брошусь,
густое,
зловещее.

и спасу тебя!..
Это будет
 сердцем велено мне,
сердцем велено...
Но ведь ты же
 сильнее меня,
 сильней

и уверенней!
Ты сама готова спасти других
от уныния тяжкого.

Ты сама не бойшься
ни свиста пурги,
ни огня хрустящего.
Не заблудишься,
не утонешь,
зла не накопишь.
Не заплачешь
и не застонешь,
если захочешь.
Станешь плавной
и станешь ветреной,
если захочешь...
Мне с тобою —
такой уверенной —
трудно
очень.
Хоть нарочно,
хоть на мгновенье, —
я прошу,
робея, —
помоги мне в себя поверить,
стань
слабее.

ЛИВЕНЬ

Аленке

— Погоди!.. —

А потом тишина и опять:

— Погоди...

К потемневшей земле

неподатливый сумрак прижат.

Бьют по вздувшимся почкам

прямые, как правда,

дожди.

И промокшие птицы

на скрюченных ветках дрожат...

Ливень мечется?

Пусть.

Небо рушится в ярости?

Пусть!

Гром за черной горою

протяжно и грезно храпит...

Погоди!

Все обиды забудь.

Все обиды забудь...

Погоди!

Все обиды забыл я.

До новых

обид...

Хочешь,

высушу птиц?

Жарким ветром в лесах просвищу?

СЕРДЦЕ В РУКАХ

Я видел, как по Праге,
с прохожими
 встречаясь,
нейлоновое платье
на плечиках качалось.
Качалось —
 незатейливое,
цвета румянца.
Качалось
отдельно,
чтобы не помяться.
Несла его
 девушка, —
как счастье, несла.
Девушка зардевшаяся
на танцы шла...

Но почему я вздрогнул
и холодок —
 по коже, —
весенняя дорога
похожа!
Похожа!
С цветов,
 зарей вымытых,
сбивая росу,
я на руках вытянутых
сердце несу...

Идти неудобно —
улицы
круты...
Несу я сердце
к дому,
в котором —
ты.
Какое это сердце —
тебе
разглядеть.
Какое это сердце —
тебе
владеть!..
Веришь или не веришь, —
возьми его,
прошу...

Я позвоню у двери
и сердце положу...
А ты опять рассердишься, —
есть из-за чего.
А ты не примешь
сердца,
сердца моего...
Я это знаю, знаю —
и все же иду...

Улица
сквозная
пророчит беду.
А людям удизительно:
человек идет
и на руках
вытянутых
сердце
несет...

ТВОРЧЕСТВО

Как оживает камень?
Он сначала
не хочет верить
в правоту резца...

Но постепенно
из сплошного чада
плывет лицо.
Верней —
подобие лица.

Оно ничье.
Оно еще безгласно.
Оно еще почти не наяву.
Оно еще
безропотно согласно
принадлежать любому существу.
Ребенку,
 женщине,
 герою,
 старцу...

Так оживает камень.
Он —
 в пути.
Лишь одного не хочет он:
остаться
таким, как был.
И дальше не идти...
Но вот уже

с мгновением великим
решимость Человека сплетена,

Но вот уже
грудным, просящим криком
вся мастерская
до краев полна:
«Скорей!

Скорей, художник!
Что ж ты медлишь?
Ты не имеешь права
не спешить!

Ты дашь мне жизнь!
Ты должен.
Ты сумеешь.
Я жить хочу!
Я начинаю

жить.
Поверь в меня светло и одержимо.
Узнай!
Как почку майскую, раскрой.
Узнай меня!
Чтоб по гранитным жилам
пошла

толчками
каменная кровь.
Поверь в меня!..
Высокая,
живая,
по скошенной щеке

течет слеза...
Смотри!
Скорей смотри!
Я открываю
печальные

гранитные глаза.
Смотри:
я жду взаправдашнего ветра.
В меня уже вошла
твоя весна!..»

А человек,
который создал
это,
стоит и курит около окна.

ЛЮДЯМ, ЧЬИХ ФАМИЛИЙ Я НЕ ЗНАЮ

По утрам
 на планете мирной
голубая трава в росе...
Я не знаю ваших фамилий, —
знаю то,
что известно всем:
бесконечно дышит вселенная,
мчат ракеты,
 как сгустки солнца.
Это —
 ваши мечты и прозрения.
Ваши знания.
Ваши бессонницы.
Знаю только,
 что где-то
 ретиво,
в предвкушение военного грома,
зря
от тяжести реактивной
прогибаются аэродромы!
Не рискнут они.
Не решатся.
Вашей силы
 они страшатся.
Называют вас просто:
 «атомщики»,
именуют скромно
 «ракетчиками»...

Дорогие наши товарищи,
лишь известностью
не обеспеченные.
Вам даются награды
негласно.

Рядом с нами вы.
И не с нами.
Мы

фамилий ваших не знаем,
только вы и на это
согласны.

От чужого укрыты взгляда,
от любого укрыты взгляда, —
ничего не поделаешь —
надо.

Ничего не попишешь —
надо.

О, суровая правда века!..
Люди в чьих-то штабах
упрямы.

Составляет чья-то разведка
далеко идущие планы
и купюры
крупные

стелет...

Только что вам
до этих денег!
Вы бы даром

светло и доверчиво, —
если б дело пошло на это, —
положили б

к ногам Человечества
все до капельки сверхсекреты!
Сколько б вы напридумали разного!
Очень нужного

и удивительного!

Вы-то знаете, что для разума
никаких границ не предвидено.
Как бы людям легко дышалось!
Как бы людям светло любилося!
И какие бы мысли
бились

в полушарьях
земного шара!..
Но пока что над миром веет
чуть смягчающееся
недоверье.
Но пока дипломаты высокие
сочиняют послания
мягкие, —
до поры до времени
все-таки
остаетесь вы
безымянными.
Безымянными.
Нелюдимыми.
Гениальными невидимками...

Каждый школьник в грядущем мире
вашей жизнью
хвастаться будет...
Низкий-низкий поклон вам,
люди.

Вам,
великие.
Без фамилий,

ЧАРДАШ

Ходит пол
 ходуном, —
танцуют венгры.
На раздолье степном
разгулялись ветры...
А скрипач, —
 ай, скрипач!
Ах, дьявол —
к скрипке
 прикипел-припал
плечом окаянным!
Он так придумал,
 так захотел,
так приказал он...
Скрипки бешеная метель
бушует по залу!..

Проходит девушка одна,
хрустя
 юбкой.
На всех посматривает она
легко и юно.
Чего, мол,
 ты застыл, чудака, —
стоишь смирно.

Я просто так,
 просто так
иду
мимо...
Я, может,
 еще раз взгляну
пожму плечами...

И вдруг —
 повернувшись ко мне:
 «А ну,
станцую чардаш!»
И вот пошло!
 И вот началось!
Закружилось!
И вот над нами
 две тысячи гроз
ахнули,
ширясь!..
А сердце звенит:
 пропал, пропал...
Рушатся стены...
А скрипач, —
 ай, скрипач!
Ах, стерва!!
Эгей,
 черт тебя возьми!
Давай чаще!!
Танцуем мы,
 танцуем мы
чардаш!
Чардаш!..
Земля, кружись!
 Мир, кружись!
Кружись и смейся!..
Раскручивается
 наша жизнь
с планетою вместе!
Пускай другие
 берут покой,
сон
 и молчанье...

А мы выбираем
огонь!
Огонь!
Чардаш,
 чардаш!..
Мелькают лица,
 летят слова
по белому свету...

И если закружится голова
у старой планеты,
стыдиться этого
 не должна
планета,
 ручаюсь —
вместе с нами
в тот вечер
 она
танцевала чардаш.

АРКАДИЮ РАЙКИНУ

Ваш выход, артист.
Ваш выход.
Забудьте
 усталость и робость...
Хотя не для вас ли вырыт
зал,
бездонный, как пропасть?
И вам по краю,
 по краю,
по очень опасной грани,
по грани,
 как по канату,
с улыбкой двигаться надо...
Ваш выход, артист...

Вы сами
не создавайте иллюзий,
что люди,
 сидящие в зале, —
сплошь
достойные люди.
Конечно, достойных гораздо
больше, —
куда ни взгляни.
Все это так.
Но разве
ждут вас
 только они?..

которые в третьем, —
они вас встретят истощно,
они вас овацией встретят!
Но вы же знаете точно:
они от безделья

поразвlecься,
животики надорвать...

ожидая шуток, —
самодовольства полон, —
сидит

Он будет во время вечера
брюзжать, что в зале

Так что ж вы здесь —
вроде веера?

Пора...

покашлял внушительно
и трепетно замолчал...

Пора...
Поднимайтесь в атаку.
Ваш выход,
товарищ артист!

ОКНА, КОТОРЫЕ НАРИСОВАНЫ

Владимиру Резвину

Вот на доме
 потемневшая охра.
И от этого сразу же заметнее
неживые,
 нарисованные окна —
с настоящим рядом.
Для симметрии...
Как старался художник!
 Как старался!
И, наверное,
 себе казался смелым.
Как он в тайнах искусства
 разбирался!
Даже стекол блеск
передать сумел он...
Нарисованные окна?
Пустое!..
Только я хочу туда
 постучаться!

Кто живет
в нарисованном доме?
Создает
нарисованное счастье?..
Расскажите,
 почему,
 зачем я верю

в то,
что, выпятив бумажные груди,

важно входят

в нарисованные двери
нарисованные, плоские люди.
Головами

нарисованно качают,
на судьбу свою
не слишком в обиде.

На приветствия живых

отвечают

Вы не видели таких?

Я видел!

Стыдно в драку лезть
крупную,
а в мелкую —
совсем неудобно...
Бедные,
как вы только терпите?!
Сколько в вас
святой терпеливости!..
Из стыдливости
плохого вы не делаете.
И хорошего тоже —
из стыдливости.
Вы живете,
вы извиняетесь,
улыбаетесь печально и пустынно...
Нет,
вы не боитесь,
вы
стесняетесь.
Вам ведь не страшно,
вам —
стыдно...
Добрые,
других не укоряющие,
милые,
стеснительные вечно,
удобные,
со стыда сгорающие,
люди-людишки.
Человечки...

ЧАСЫ

— Идут часы...
— Подумаешь, —
открыть!
Исправны, значит...
Приобрел —
носи...

— Я не о том!
На улицу смотрите:
по утренней земле
идут часы!
Неслышно, торопятся минуты,
идут часы,
стучат ко мне в окно.
Идут часы,
и с ними разминуться,
не встретить их
живущим не дано...
Часы недлинной жизни человека,
увидите, —
я вас перехитрю!
Я в дом вбегу.
Я дверь закрою крепко.
Теперь стучите, —
я не отворю!..

Зароешься,
закроешься,
непустишь,
свои часы дареные испортишь,

забудешь время
и друзей забудешь,
и замолчишь,
и ни о чем не вспомнишь.
Гордясь уютной тишиной квартиры
и собственной хитростью
лучась,
скорее
двери забаррикадируй!..

Но час
придет!
Неотвратимый час.
Наступит он в любое время года
на мысли,
на ленивые мечты.
Наступит час
на сердце и на горло...
И, в страхе за себя,
очнешься ты!..
И разобьет окошко
мокрый ветер.
И хлынут листья
в капельках росы...

Услышишь:
бьют часы!
И вслед за этим
почувствуешь:
наотмашь
бьют
часы!

ПАРИЖ, ФРАНСУАЗЕ САГАН

Пишу вам по праву ровесника,
уважаемая Франсуаза...

Возможно,
вздыхнув невесело,
письмо вы поймете не сразу.
То,

над чем вы горюете,
вы знаете лучше всего...
Ходят по улицам

люди

возраста моего.
В Лондоне и в Париже
замашки у них одни.
Свое поколение
лишним
всерьез

называют они.

Они вас считают

знаменем

неверия и порока.

Они вас считают

снадобьем

и даже чуть-чуть
пророком.

Пророки обычно безжалостны,
но я не под богом
рос...

Ответьте, пророк, пожалуйста,
на очень нестранный

вопрос:

кому вы

все ж таки

лишние,

парни,

нарочно небрежные?

Девчонки,

модно подстриженные,

не слишком гордые,

грешные?

Зачем ваши души

выданы

в липкие лапы молвы?

Кому это все ж таки

выгодно,

чтоб лишними

были вы?

Чтоб вы обо всем

забывали?

Чтоб жизнь вам казалась

тесною?

Чтоб вы

вином запивали

песню,

лишь с виду дерзкую:

«Мы

лишние.

Мы неумные.

Нас понимает

любой!

Политики

не признаем мы,

а признаем любви!

Рабы

разгулявшейся плоти,

мы —

лишнее поколение —

унылое чувство

локтя

сменили

на чувство колена!

Мы лишние,
лишние,
лишние!
Лишние ночью и днём!..»
Конечно,
все это —
 личное,
личное ваше дело...
Но вот
 к небрежному парню
неумолимо и веско
однажды —
 для вящей памяти —
ляжет на стол
повестка.
«Я лишний...
Не надо!
Я лишний...
С политикой я не знаком...»

Но рывкнет фельдфебель
 рыжий:
— Прр-р-прямо-о!
Бегом!! —
А через пару суток
в очень серьезный день
парню
дадут подсумок,
в котором —
 сорок смертей.
Потом поведут —
погонят
(он будет не лишним
в строю!).
И пуля его уколёт
в Африке,
в первом бою...
Над высушенной гвоздикой
прошебаршит гром.
И на песок
 тихий
тихо
 вытечет кровь.

О ДОРОГАХ

В. А. Луговскому

Есть кладбище дорог.
Не слышали?
Есть кладбище дорог.
Не знаете?!
Закованы
 в глухие наледы.
Заметены песками
 рыжими.
Дороги мертвые,
 холодные,
дороги длинные
 и страшные,
забывшие надежды радужные,
засыпаны и захоронены...
Они от ливней не лоснятся,
над ними ветер не проносится.
Я знаю:
мертвым
сны
 не снятся!..
К дорогам
это не относится.
Я верю:
 им
через годы,
полузабытым,
тихо грезится:
они опять на солнце греются.

Они опять необходимы.

И снова

терпко пахнут пряности,
и туча гроыхает вешняя,
и караван шагает вежливо
дорогой слез,
дорогой радости...
И вновь стерня сухая

колется,
и суженые вновь прощаются.
Храпящая
проходит конница,
с подковами
теряя счастье...
Дороги грезят,
опечалены
несбыточностью этих снов...
А в каменную пыль впечатаны
следы босых

дубленых

ног!

Дороги длинные, протяжные
засыпаны и захоронены...

Над ними

города построены.
Легла земля слоями тяжкими.
Большое солнце

светит ласково,
гудроны по земле распластаны.
Мерцают

рельсовые лезвия...

Им хорошо.

Они —

железные.

В ГОСТИНИЦЕ

Мы простились, простились...
Вновь бессонная рань.

Снова

запах гостиниц,
снова плюшевый рай.

Вновь

в мерцающей раме —
честно службу неся —
давним символом рая
«Медведи»

висят...

Вновь дежурная сонно
ключ покрутит в руке.
От дивана узоры
у нее на щеке...

Все знакомо,

знакомо:

уходящая тьма
и пейзаж заоконный, —
в мягких бликах дома.
Пустота коридора,
комнат сумрачный вид
и сосед мой,
который
залихватски храпит.
С тишиной на мгновенье,
с раскатом чудным...

Завтра вечером,
верь мне,
мы подружмся с ним.
Он окажется

богом
по части дорог.

Пробка
глянцевым боком
шуганет в потолок!
И с улыбкою львиной, —
«Пьем на «ты»...

Решено...» —
в крышку из-под графина
нальет он вино...
Будет хаять погоду,
будет хвастать женой.
И почти до восхода
проболтает со мной...
Станет звякать посуда,
о покое скорбя...

Трое суток
отсюда
до тебя,
до тебя...

РЫБАКИ

С. Красаускас

Что вы ловите,
рыбаки?
Что ловите?..
Как всегда,
неприступны и застенчивы, —
над гудящей рекой
вы расставили локти,
будто не удочки у вас в руках,
а уздечки.
Будто это не река,
а конь взнузданный,
будто слышится вам
топот копыт частый,
будто в жизни вам
только это и нужно, —
вечно мчаться
за своим рыбацким счастьем.
Пригибаясь к холке коня,
тихо охаете...
А к высоким сапогам
глина прилипла.
А в ведерках —
сплошняком ерши
да окуни...

Где ж она —
золотая ваша
рыбка?..
Мимо вас по реке —

лодки, лодки...

А за моим окном
глухо шумит улочка.

Я сижу,
расставив широко локти.

У меня в руках не карандаш,
а тоже — удочка.

Я, как вы, рыбаки,
пробую разное.
Мне

ленивую плотву ловить не хочется.
Я в поток ревуший удочку забрасываю, —
по тетрадному листу
круги расходятся.
Расходятся круги,
разбегаются...

А улов мой
вяло иглами ершится.
Над усталой головою
солнце катится,

в каждой капле отражаясь,
в каждой жизни...

Может, скажут:
«Ты ловить не умеешь!

Не всегда тебе
терпенья хватает...»

Нет, поймите, —
мне надоела мелочь,
мелочь!

А где —
она?

Где моя рыбка
золотая?

Где она —
неповторимая —
хоронится?

На какой такой глубине опасной?

Как вам ловится,
рыбаки?

Как ловится?

Я желаю вам удачи.

Удачи рыбацкой.

РЕКВИЕМ

(Поэма)

Памяти наших отцов и старших
братьев, памяти вечно молодых
солдат и офицеров Советской
Армии, павших на фронтах
Великой Отечественной войны.

1

Вечная
 Слава
 Героям!
Вечная слава!
Вечная слава!
Вечная
 слава
 героям!
Слава героям!
Слава!!
...Но зачем она им,
 эта слава, —
мертвым?
Для чего она им,
 эта слава, —
павшим?
Все живое —
спасшим.
Себя —
не спасшим.

Для чего она им,
эта слава, —
мертвым?..
Если молнии в тучах заплещутся жарко
и огромное небо
от грома оглохнет,
если крикнут
все люди земного шара, —
ни один из погибших
даже не вздрогнет.
Знаю:
солнце
в пустые глазницы не брызнет!
Знаю:
песня
тяжелых могил не откроет!
Но от имени
сердца,
от имени
жизни
повторяю:
Вечная
Слава
Героям!..
И бессмертные гимны,
прощальные гимны
над бессонной планетой
плывут величаво...
Пусть
не все герои, —
те,
кто погибли, —
павшим
Вечная слава!
Вечная слава!..
Вспомним всех поименно,
горем
вспомним
своим...
Это нужно —
не мертвым!
Это надо —
живым!

Вспомним
 гордо и прямо
погибших в борьбе...
Есть
 великое право:
забывать о себе!
Есть
 высокое право:
пожелать и посметь!..
Стала
Вечною Славой
мгновенная
смерть!

2

Разве погибнуть ты нам завещала,
Родина?
Жизнь
 обещала,
любовь,
 обещала,
Родина.
Разве для смерти
 рождаются дети,
Родина?
Разве хотела ты
 нашей смерти,
Родина?
Пламя
 ударило в небо —
ты помнишь,
Родина?
Тихо сказала:
 «Вставайте на помощь...» —
Родина.
/ Славы
 никто у тебя не выпрашивал,
 Родина,
Просто был выбор у каждого:
я
или
 Родина.

Самое лучшее и дорогое —
Родина.
Горе твоё —
это наше
 горе,
Родина.
Правда твоё —
это наша
 правда,
Родина.
Слава твоё —
это наша
 слава,
Родина!

3

Плескалось багровое знамя,
горели багровые звезды,
слепая пурга накрывала
багровый от крови
 закат,
и слышалась
 поступь дивизий,
великая поступь
 дивизий,
железная поступь
 дивизий,
точная поступь
солдат!
Навстречу раскатам
 ревущего грома
мы в бой поднимались
светло и сурово.
На наших знаменах
 начертано слово:
Победа!
Победа!
Во имя Отчизны —
 победа!
Во имя живущих —
 победа!
Во имя грядущих —
 победа!

Чтобы умными руками,
чтобы

собственную кровью
превратить
обычный камень
в молчаливое
надгробье.
Разве камни

виноваты

в том,

что где-то под землею
слишком долго
спят солдаты?
Безымянные
солдаты.
Неизвестные
солдаты...

А над ними

травы сохнут.

А над ними

звезды меркнут.

А над ними

кружит беркут.

И качается подсолнух.

И стоят над ними
сосны.

И пора приходит

снегу.

И оранжевое солнце
разливается по небу.

Время

движется над ними...

Но когда-то,

но когда-то

кто-то в мире

помнил

имя

Неизвестного солдата!

Ведь еще

до самой смерти

он имел друзей немало.

Ведь еще

живет на свете

Где она теперь — невеста?..

Умирал солдат —
известным.
Умер —
Неизвестным.

5

Ой, зачем ты,
 солнце красное,
все уходишь —
не прощаешься?
Ой, зачем
 с войны безрадостной,
сын,
не возвращаешься?
Из беды тебя я выручу,
прилечу
 орлицей быстрою.
Отзовись,
моя кровиночка!
Маленький.
Единственный...

Белый свет
 не мил.
Изболелась я.
Возвратись,
 моя надежда!
Зернышко мое.
Зорюшка моя.
Горюшко мое, —
где ж ты?

Не могу найти дороженьки,
чтоб заплакать над могилою.
Не хочу я
ничегошеньки, —

Это песня о солнечном свете,
 это песня о солнце в груди.
 Это песня о юной планете,
 у которой
 все впереди!
 Именем солнца,

именем Родины

клятву даем.

Именем жизни

клянемся павшим героям:

то, что отцы не допели, —

мы

допоем!

То, что отцы не построили, —

мы

построим!

Устремленные к солнцу побеги,
 вам

до синих высот

вырастать.

Мы —

рожденные песней победы —

начинаем жить и мечтать!

Именем солнца,

именем Родины

клятву даем.

Именем жизни

клянемся павшим героям:

то, что отцы не допели, —

мы

допоем!

То, что отцы не построили, —

мы

построим!

Торопитесь,

веселые весны!

Мы погибшим на смену

пришли.

Не гордитесь,

далекие звезды, —

**ожидайте
гостей с Земли!
Именем солнца,
именем Родины
клятву даем.
Именем жизни
клянемся павшим героям:
то, что отцы не допели, —
мы
допоем!
То, что отцы не построили, —
мы
построим!**

Слушайте!
 Это мы
 говорим.
 Мертвые.
 Мы.
 Слушайте!
 Это мы
 говорим.
 Оттуда.
 Из тьмы.
 Слушайте!
 Распахните глаза.
 Слушайте до конца.
 Это мы говорим,
 мертвые.
 Стучимся
 в ваши сердца...
 Не пугайтесь!
 Однажды мы вас потревожим во сне.
 Над полями
 свои голоса пронесем
 в тишине.
 Мы забыли,
 как пахнут цветы.
 Как шумят тополя.

Какой она стала,
земля?

Поют на земле

Как черешни?

Цветут на земле

Как светлеет река?

над нами?

Мы забыли траву.

Мы забыли деревья

давно.

Шагать по земле не дано.

Никогда не дано!

Никого не разбудит

оркестра

печальная

медь...

Только самое страшное, —

даже страшнее,

чем смерть:

ЗНАТЬ,

ЧТО ПТИЦЫ

поют на земле

без нас!

Что черешни

цветут на земле

без нас!

Что светлеет река.

И летят облака

над нами.

Без нас.

Продолжается жизнь.

И опять

начинается день.

Продолжается жизнь.

Приближается время дождей.

Будут в степях
травы
шуметь.
Будет стучать
в берег
волна...

Только б
 допеть!
Только б
 успеть!
Только б
 испить
чашу
до дна!
Только б
 в ночи
пела труба!
Только б
 в полях
зрели хлеба!..
Дай мне
ясной жизни,
 судьба!
Дай мне
гордой смерти,
 судьба!

10

Помните!
Через века,
 через года, —
помните!
О тех,
кто уже не придет
 никогда, —
помните!

Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.

Памяти
павших
будьте достойны!

Вечно
достойны!
Хлебом и песней,
мечтой и стихами,
жизнью просторной,
каждой
секундой,
каждым
дыханьем
будьте достойны!

Люди!
Покуда сердца
стучатся, —

помните!
Какою ценой
завоевано счастье, —
пожалуйста,
помните!

Песню свою
отправляя в полет, —
помните!
О тех,
кто уже никогда не споет, —
помните!

Детям своим
расскажите о них,
чтоб запомнили!
Детям
детей
расскажите о них,
чтобы тоже
запомнили!
Во все времена
бессмертной Земли
помните!

К мерцающим звездам
ведя корабли, —
о погибших
помните!

Встречайте трепетную весну,
люди Земли.
Убейте
войну,
прокляните
войну,
люди Земли!
Мечту пронесите через года
и жизнью наполните!..

Но о тех,
кто уже не придет
никогда, —
заклинаю, —
помните!

Из сборника
"РОБЕЦ#ИКУ"
1959-1962



СТИХИ О МОЕМ ИМЕНИ

Ояру Вацетису

Мне говорят:
«Послушайте,
 упрямиться чего вам?
Пришла пора исправить ошибки отцов.
Перемените имя.
Станьте
 Родионом.
Или же Романом в конце концов...»
Мне это повторяют...

А у меня на родине
в начале тридцатых
 в круговерти дней
партийные родители
называли Робертами
спеленатых,
 розовых,
 орущих парней...
Кулацкие обрезы ухали страшно.
Кружилась над Алтаем рыжая листва...
Мне шепчут:
«Имя Роберт
 пахнет иностранщиной...»
А я усмехаюсь на эти слова...

Припомнитесь, тридцатые!
Вернись, тугое эхо!
Над миром неустроенным громыхни опять,

Я скажу о Роберте,
о Роберте Эйхе!

В честь его
стоило детей называть!

Я скажу об Эйхе.
Я верю:

мне знаком он —
большой,
неторопливый, как река Иртыш...
Приезжал в Косиху
секретарь крайкома.

Веселый человечье.

Могучий латыш.

Он приезжал в морозы,
по-сибирски лютые,

своей несокрушимостью
недругов разя.

Не пахло иностранщиной!

Пахло

Революцией!

И были у Революции

ясные глаза...

А годы над страной летели громадно.

На почерневших реках

дождь проступал,

как сыпь...

Товарищ Революция!

Неужто ты обманута?!

Товарищ Революция,

где же твой сын?

В какую мглу запрятан?

Каким исхлестан ветром?

Железный человечье.

Солдат Октября.

Какими

подлецами

растоптан;

оклеветан?..

Неужто,

Революция,

жизнь его —

зря?!

От боли,
от обиды
напрягутся мышцы.
Но он и тогда не дрогнет,
все муки стерпя.

В своем последнем крике,
в последней самой мысли,
товарищ Революция,
он верил в тебя!..
Да будет ложь
бессильной.

Да будет полной
правда...
Ты слышишь, Революция,
знамен багровых
плеск?

Во имя Революции —
торжественно и прямо —
навстречу письмам
Эйхе
встает партийный съезд!
Рокочет «Интернационал»
весомо и надежно.

И вот,
проклиная жестокое вранье,
поет Роберт Эйхе —
мой незабвенный тезка!..

Спасибо вам, родители,
за имя мое...
Наверно, где-то ждет меня
мой последний
день.

Кипят снега над степью.
Зубасто встали надолбы...

Несем мы имена
удивительных людей.
Не уронить бы!
Не запятнать бы!

ягоды

Детство как прочитанная книга...

За спиною — лес,
как два крыла.

Помню:

в том лесу росла клубника.

Нежная,
прохладная росла.

Ягоды двоились, наплывали,
в зелень зарывались от жары.

Медленно качали головами
солнечные сочные шары.

Справа.

Слева.

Всюду!

Повсеместно!

Дальше убегали —

под кусты...

Черные жуки тяжеловесно
плюхались на желтые цветы.

Сосны поднимались к небу косо,
солнце било

зло и горячо.

Легкие глазастые стрекозы
опускались на мое плечо...

Я лежал под ягодным обвалом.

На коленях ползал я.

Спешил...

А когда наелся до отвалу,
руки вытер кепкой

и решил,
что всего не съем сегодня.

Явно!

Сразу все с собой не подниму...

Но должна

принадлежать поляна
только мне!

А больше никому.

Я вернулся в лагерь,

помня это.

Целый месяц тайной дорожил...

...А когда уже кончалось лето,

ту поляну

навестить решил.

Убеждал меня вожатый главный:

мол, смотри,

в болото не зайди!

Воспитатель Марья Николавна

говорила:

«Ягод не найти!

Кончился сезон их, как известно...»

Но упорно не сдавался я:

— Ну и что же?

Я ведь знаю место.

У меня ж

поляна есть своя...

Снова брел я сквозь кусты жестокие,

лоб мочил в студенном роднике,

рвал руками паутинки тонкие,

сотканые неизвестно кем.

Нес корзину за плечами рьяно,

тропка извивалась,

как змея...

Поворот —

и вот она,

поляна!

Вот она.

Та самая.

Моя!

ПАМЯТЬ

Память,
ты, как никогда,
 легко ранима, —
ты девчоночьих имен
не сохранила.
Разберись в воспоминаниях нечетких...

Жили-были в нашем городе
девчонки.
Длинноноги,
угловаты,
синеоки, —
назначали нам свиданья
возле Омки.
Мы

 терялись и зевали —
в жизнь вникали.
Нас мальчишки называли
«женихами».
Пели хитрые мальчишки
злую песню.
Говорилось в ней
о тесте
 и невесте.
Мы шагали через двор,
двора не видя...

Но потом
мы «исполнителей»
ловили!

Заводили их в подъезд
и терпеливо
совершали суд
святой и справедливый...
А с девчонками
вели себя

не просто.

И по-взрослому
курили папиросы.
А вообще предпочитали
карамели,
потому что
притворяться не умели.
Мы для них сирень ломали
вдохновенно...

Но это были не романы,
а так...
Новеллы...
Память, память,
желчь

и мед —
напрасно споришь:
ты ведь даже их имен
теперь
не вспомнишь...

таранивший «мессера»
три недели назад
над Ростовом..

Мы вошли.
Мы стоим в молчании...
Вдруг
срывающимся фальцетом
Абрикосов Гришка отчаянно
объявляет начало концерта.
А за ним,
не вполне совершенно,
но вовсю запевале внимая,
о народной поем,
о священной

так,
как мы ее понимаем...
В ней Чапаев сражается заново,
краснозвездные мчатся танки.
В ней шагают наши
в атаки,
а фашисты падают замертво.
В ней чужое железо плавится,
в ней и смерть отступать должна.
Если честно признаться,
нравится
нам
такая война...
Мы поем...
Только голос летчика
раздается.
А в нем — укор:
«Погодите...
Постойте, хлопчики...
Погодите...
Умер

майор...»
Балалайка всплеснула горестно.
Торопливо,
будто в бреду...

...Вот и все
о концерте в госпитале
в том году.

ЗАСУХА

— Развесели,
хоть чем-нибудь развесели...

— Смотри:
дожди не долетают до земли...
Не долетают,
вянут в мареве густом...

— Да не о том ты!
Вовсе не о том!
Я это слышу сорок дней подряд —
ты лучше о другом...

— Хлеба горят...

Придумай сказку с радостным концом!

Пусть девушка с веснушчатым лицом
придет, как шум дождя,
как ветра шум...

Придумай сказку —
я тебя прошу...

Пусть хлебом пахнет,

теплым,

аржаным...

Придумай...

— Сумасшедшая жарынь!
Такой горячей,
медленной реки
кудлатые не помнят старики...

— Развесели!
Развесели хоть чем-нибудь!..

Сухую землю
трактора скребут,
Так светит солнце,
что в глазах темно.
Жестокое,
свирепое,
оно
вбивает в пашню
жесткие лучи...

— Спасибо, друг...
Развеселил.
Молчи.

* * *

А. Флярковскому

Голос начищенной меди,
ты в детство зовешь меня.
Туда,
где сады соседей
обшаривала ребятня.
Туда, где, от пыли
желт,
полк через город
шел.

А мы, уяснив для себя
значение этого факта,
от зависти черной сопя,
смотрели на музыкантов.
Они нам казались
богами,
поющими песню свою.
Ничуть они нас не ругали.
И мы, торопясь,
подбегали
к последнему в этом строю.
Шагал он особенно веско,
хоть был без особых примет.
К себе прижимал, как невесту,
рокочущий инструмент.
И шли мы,
шеренгой равняясь,

сквозь город —
до самых казарм.
И солнцем до слез наполнялись
распахнутые глаза...

**А после
немало отметин
на сердце оставили дни...
Под голос начищенной меди
товарищей я хоронил.
Звнящий решительный голос
в теплушки с перрона проник.
Стояли любимые,
 сгорбась.
А мы уезжали от них...
Никто нам, товарищ, не скажет,
что нас обделила
 судьба...**

Но если над миром
однажды
тревожно зальется труба...
Сквозь ураганный ветер,
по ноздреватому льду
я за тобой пойду,
голос
начищенной меди!

Города,
озорные и полные грусти...
Сколько раз

к запыленным вагонам несли
папиросы и яблоки,
рыбу и грузди,
крутобокие дыни,
размякшие сливы!
Пиво в кружках тяжелых
и пиво
навынос...

...А вокзал,
как пальто для мальчишки, —
на вырост!

Так и кажется:
он из грядущего года,
из грядущего года,
не от этого
города..

Отправление.
Под самые тучи запущен
паровозный гудок.
И, рванувшись на запад,
остаются в прошлом,
остаются
в будущем
города,
начинающиеся с вокзалов...

* * *

Нахохлятся тяжелые колосья
по всей земле,
размякшей и огромной.

Потом настанет осень.

Хлынет осень,
сиреневым морозом
травы тронув.

И длинный дождь,
с три короба наплавав,
лесную чащу с головой накроет,
разлапистые листья покоробит...

Опавшие,
в оранжевых накрапах,
они цветным пластом на землю лягут
и будут глухо чавкать под ногами.
И вспоминать
о светлом птичьем гаме,
о месяце грибов и спелых ягод...

И медленное солнце будет таять.
И незаметно

удлинится время.

И в сотый раз
я не смогу представить,
как выглядят
июньские деревья.

* * *

Я жизнь люблю безбожно!
Хоть знаю наперед,
что —

рано или поздно —
настанет мой черед,
Я упаду на камни
и, уходя во тьму,
усталыми руками
землю обниму...

Хочу,
чтоб не поверили,
узнав,
друзья мои.
Хочу,
чтоб на мгновение
охрипли соловьи!
Чтобы,
впадая в ярость,
весна по свету шла...

Хочу, чтоб ты
смеялась!
И счастлива была.

ТАЕЖНЫЕ ЦВЕТЫ

Не привез я таежных цветов —
извини.

Ты не верь,
если скажут, что плохи
они.

Если кто-то соврет,
что об этом читал...

Просто
эти цветы
луговым не чета!
В буреломах,
на кручах.
пылают жарки,
как закат,
как облитые кровью желтки.
Им не стать украшеньем
городского

стола.

Не для них
отшлифованный блеск
хрусталя,

Не для них!
И они не поймут никогда,
что вода из-под крана —
это тоже вода...
Ты попробуй сорви их!

Попробуй сорви!
Ты их держишь,
и кажется,
руки в крови!..
Но не бойся,
цветы к пиджаку приколи...

Только что это?
Видишь?
Лишившись земли,
той,
таежной,
неласковой,
гордой земли,
на которой они на рассвете взошли,
на которой роса
и медвежьи следы, —
начинают стремительно вянуть
цветы!

Сразу гаснут они!
Тотчас гибнут они!..

Не привез я
таежных цветов.
Извини.

ПЕЛЬМЕНИ

С. А. Герасимову

Солнце в черной туче тонет —
завтра будет дождь с утра...
Мы сидим

 в добротном доме
Запевалова Петра.
Стекла дребезжат от песен,
снова гость —

 через порог.
Сам хозяин пьян и весел
и по-пьяному багров...

Перемены,
перемены.
Затеваются
 пельмени!..

Сын хозяйский,
 шепелявя,
хвастает:
— У нас в Челябине
ажно до небес домины!..
...В доме
 густо

 надымили.
Надымили,
Надышали.

Жарко,
будто на пожаре...

Перемены.
Перемены.
Прыгают в котел
пельмени...

А хозяин речь заводит,
как по писаному
шпарит, —

о работе,
о заводе.
Работяги в спор вступают.
На столе звенит посуда
яростно и безрассудно.

Перемены.
Перемены.
Крутятся в котле
пельмени...

И опять гудит веселье...
За столом —
не в стороне —
человек поет со всеми,
пьет

со всеми наравне.
Говорит, слова смягчая,
как потомственный казак.
Только
каждый замечает
удивление в глазах...

Перемены.
Перемены.
Жаром пышут
пельмени...

Никого ты не обманывай —
плачь!
Не будет в том стыда...
Через сорок лет
без малого
приехал он сюда.

**Невероятное спасибо,
 дюны!..
Освобожденно кровь стучит в виске.
Все грустные
 и все пустые думы
растаяли в спрессованном песке.
Спасибо дюнам...**

Высоко и прямо
они взлетели —
 за грядой гряда.
Они похожи на большое пламя,
которое застыло навсегда!
Сейчас по склонам
 чайки бродят важно.

Мир
красноватым светом озарен...
Все это ваше,
люди!

**Ваше!
Ваше!
Как мы богаты
 небом и землей!**
Как мы богаты ливнями мгновенными
и трепетным дрожанием стрекоз.
И снегом.
И нетронутыми вербами.

Смолой,
лениво капающей в горсть.
Дурманящими запахами сена.
Тяжелой желтизной
пчелиных сот.

Богаты
югом мы.

Богаты
севером.
И ревом рек.
И тишиной лесов.
И жаворонка песней беспричинной.
И соснами,
смотрящими в зарю...

Я на песке тугом
лежу песчинкой
и тихо-тихо дюнам говорю:
Спасибо,
дюны!
До конца спасибо.
За ясность.
За последние цветы.
За то, что
необыкновенной силой
пропитаны шершавые хребты!
Спасибо вам,
немые,
беспредельные,
плывущие сквозь ветровую вязь.
Спасибо,
добрые,
за все, что сделаю
после того,
как я увидел вас.

РЕКИ ИДУТ К ОКЕАНУ

Реки Сибири,
как всякие реки,
начинаются
ручейками.
Начинаются весело,
скользкие камни
раскалывая, как орехи...
Шальные,
покрытые пеной сивой, —
реки
ведут разговор...

Но вот наливаются
синей силой
тугие мускулы волн!
Реки —
еще в становленье,
в начале,
но гнева их страшится тайга, —
они на глазах взрослеют,
плечами
расталкивая берега.
Они вырастают из берегов,
как дети,
из старых рубях...
В песок не уйдя,
в горах не пропав,
несут отражение облаков...
Смотрите:
им снова
малы глубины!

Они нараспев текут.
Они уже запросто
крутят турбины.

Плоты на себе волокут!
Ворчат
и закатом любуются медным,
а по ночам
замирают в дреме...

Становятся
с каждым пройденным метром
старее и умудренней.
Хотя еще могут,
взорвавшись мгновенно
и потемнев,

потом
тряхнуть стариною!
Вздуться,
как вены,
перетянутые жгутом!
Но это —

минутная вспышка...

А после,
освободясь от невидимых пут,
они застывают

в спокойной позе
и продолжают путь.
То длинной равниной,
то лесом редким, —
уровневенные и достойные, —
реки — легенды,
реки — истории,
красавицы и кормилицы —
реки.
И солнце восходит.
И вянут туманы...

Свое отслужив,
отзвенев,
отказав,
реки
подкатываются к океану,
как слезы к глазам.

ТЕЛЕГРАММЫ

Неужели ты такая же, как эта?..

За окном звенит разбуженное лето.

Нас хозяйка дома

в гости пригласила.

Ничего не скажешь,

да,

она красива.

Да, красива.

Мы об этом ей сказали...

И она глядит глубокими глазами,

чуть раскосыми,

зелеными, сухими...

Муж ее какой-то физик или химик.

И слова ее доносятся как эхо:

«Он сейчас в командировке...

Он уехал...»

Никакой я тайны выдать не рискую —

телеграмму он прислал:

«Люблю.

Тоскую».

И еще одну:

«Тоскую.

Жду ответа...»

Неужели ты такая же, как эта?..

Вот сидит она —

красивая, — не спору.

«Любимый!

Все идет отлично.

Не скучай.

Твоя.

Целую.

Жду ответа...»

...Неужели ты

такая же,

как эта?!

СЛЫШИШЬ!!

А. К.

Чайку бы!
Покрепче б!
С малиной!
Какие нехстати мечты!
Занозистый звон комариный.
Корявые сосны...

А ты
далеко.
Как детство, далеко.
Далеко,
 как эта река
с названием-всплеском: Олекма —
сейчас от тебя далека...

Вхожу я под посвисты ветра,
как в воду, в дорожный азарт.
Я понял разлуку,
и это
не так мудрено
 доказать.
Могу я плечом отодвинуть
от сердца глухую печаль.
И даже без писем —
 привыкнуть,
И даже без крова —
 смолчать...

Я видел и землю и небо,
умею ответить врагу,
могу

без воды и без хлеба,
но без одного
не могу!

Пускай это слишком жестоко,
пускай я тебя огорчу, —
прости меня!
Слышишь?!

Но только
в дороге я верить хочу,
что где-то на глобусе этом,
летащем,
как мир, молодом,
озябшем,
продутом,
прогретом,
то темном,

а то золотом, —
ты голову дымом дурманишь,
не знаешь ни ночи, ни дня,
и плачешь,

и руки ломаешь,
и ждешь, как спасенья,
меня!

* * *

Я родился —
 нескладным и длинным —
в одну из влажных ночей.
Грибные июньские ливни
звенели,
как связки ключей.
Приоткрыли огромный мир они,
зайчиками прошлись по стене...

«Ребенок
удивительно смирный...» —
врач сказал обо мне.
...А соседка достала карты,
и они сообщили,
 что
буду я не слишком богатым,
но очень спокойным зато.
Не пойду ни в какие бури,
неудачи
 смогу обойти
и что дальних дорог
не будет
на моем пути.

Что судьбою,
 мне богом данной
(на ладони вся жизнь моя!),

познакомлюсь
с бубновой дамой,
такой же смирной,
как я...

Было дождливо и рано.
Жить сто лет
кукушка звала...

Но глупые карты врили!
А за ними соседка
врала!
Наврала она про дорогу.
Наврала она про покой...
Карты врили!..
И слава богу,
слава людям,
что я не такой!
Что по жилам бунтует сила,
недовольство собой храня!
Слава жизни!
Большое спасибо
ей
за то, что мяла меня!
Наделила мечтой богатой,
опалила ветром сквозным,
не поверила
бабьим картам,
а поверила
ливням грибным!

ДРУГ

Мы цапаемся жестко.
Мы яростно молчим.
Порою —
 из пижонства,
порою —
без причин.
На клятвы в дружбе крупные
глядим, как на чуму.
Завидуем друг другу мы,
не знаю почему...
Взираем незнакомо
с придуманных высот,
считая,
 что другому
отчаянно везет.
Ошибок не прощаем,
себя во всем виним.
Звонить
 не обещаем.
И все ж таки звоним!
Бывает:
в полдень хрупкий
мне злость моя нужна.
Я поднимаю трубку:
«Ты дома,
 старина?..»
Он отвечает:
«Дома...

Спасибо — рад бы...

Но...»

И продолжает томно,

и вяло,

и темно:

«Дела...

прости...

жму руку...»

А я молчу, взбешен.

Потом швыряю трубку

и говорю:

«Пижон!!»

...Но будоражит в полночь

звонок из темноты...

А я обиду помню.

Я спрашиваю:

«Ты?»

И отвечаю вяло.

Уныло.

Свысока.

И тут же

оловянно

бубню ему:

«Пока...»

Так мы живем и можем,

ругаемся зазря.

И лоб в раздумьях морщим,

тоскуя и остря.

Пусть это все мальчишеством

иные назовут...

Листы бумаги

чистыми

четвертый день живут, —

боюсь я слов истертых,

как в булочной ножи...

Я знаю:

он прочтет их

и не простит мне

лжи!

КРИК РОДИВШИХСЯ ЗАВТРА

Все казалось обычным.

Простым...

Но внезапно,
зовя и звеня,
крик

родившихся завтра,
родившихся завтра,
ворвался в меня!
Слышу я:

по Земле,
качаясь, как в зыбке,
не боясь ни черта,
краснощеко и весело
горланят язычники —

нам

не чета!

Я их вижу —

мне время тех дней не застит,
не прячет во мгле.
Я их вижу:

широких,

красивых,

глазастых

на мудрой Земле!..

Я их вижу,

порою таких же усталых,
как в мои времена.

Но они

даже звездам поклоняться не станут
(а не то что чинам!)!..

Крик

родившихся завтра,
как сигнал на поверку,
сердцем ловлю...

Кройте!

Кройте,

родные мои Человеки,
Я вас очень люблю!
Матерям не давайте покоя!

Кричите!

Кричите!

Все простится потом...

Я вас так люблю,

как любят мальчишки

босиком

бродить под дождем!

Я вас так люблю,

как влюбленные любят

сумрак лесов...

Я вас так понимаю,

как усталые люди

понимают сон...

Я мечтаю о вас.

Ожидаю вас жадно

ночи

и дни...

Крик

родившихся завтра,
родившихся завтра,
поскорей зазвени!

* * *

Мы судьбою не заласканы.
Но когда придет гроза,
мы возьмем судьбу за лацканы
и посмотрим ей в глаза.

Скажем:
«Загремели выстрелы.
В дом родной
вошла беда...

Надо драться?
Надо выстоять?»
И судьба ответит:
«Да».

Скажем:
«Что ж.
Идти готовы мы...

Но скажи ты нам тогда:
наши жены станут вдовами?»
И судьба ответит:
«Да».

Спросим:
«Будет знамя красное
над землей
алеть всегда?
Наши дети
будут счастливы?»

И судьба ответит:
«Да».
И мы пойдем!

СОЛНЦЕ

Это навсегда запомни ты
и людям Расскажи...

Солнце

 начинает в комнате
строить этажи.
Солнце продолжает древнюю
тихую игру —
тянет сквозь окно

из времени

тонкую иглу.
Вот плывет игла,
раздваивается,
шире становясь.
Ветром

 с потолка сдувается
солнечная вязь.
Вот и солнечные зайцы —
эй,
посторонись! —
в зеркало,

как в пруд,

бросаются

головами вниз.
И, тугим стеклом отброшенные,
вмиг осатанев,
скачут

 легкими горошинами
по крутой стене.

Вся стена —
 в неровных линиях,
в крапинках стена...

Солнце
 яростными ливнями
хлещет из окна!
Не лучи уже,
 а ворохи
нитей
пламенных и сочных...

Съели солнечные волки
зайцев солнечных.

КОСТЕР

Умирал костер, как человек...
То устало затихал,
то вдруг
вздрагивал, вытягивая вверх
кисти желтых и прозрачных рук.
Вздрагивал,
по струйке дыма
лез,
будто унести хотел с собой
этот душный, неподвижный лес,
от осин желтеющих рябой,
птиц
неразличимые слова,
пухлого тумана
длинный хвост,
и траву,
и россыпь синих звезд,
тучами прикрытую едва.

тенор выдаст,
 поднатужась,
тоненькое «ля».
И замолкнет деловито...

Под визгливый стон
я тогда на сцену выйду
и скажу:
— Постой!
Ты поешь по всем законам.
Правильно.
И все ж —
эта песня мне знакома —
ты не так поешь!..
Написал я эту песню
ночью

у костра.
Я хотел, чтоб эта песня
не простой была.
Чтоб она из душных спален
позвала людей.
Чтоб ее
хороший парень,
как рюкзак, надел.
Чтоб до неба,
как до крыши, —
искоркам взамен, —
голос

тихий и охрипший
долететь сумел.
И, растаяв в поднебесье,
чтоб зажег зарю...
Мне знакома
эта песня —
честно говорю!
Впрочем, что я здесь толкую
и о чем кричу?
Я ж не написал
такую.
Написать хочу.

СЛЕДЫ

**Я люблю,
 когда над городом —
 снег,**

**неуверенно кружащийся,
ничей.
Неживой,
 мохнатый,
 медленный снег**

**одевает в горностай
москвичей.**

**В горнostaевом пальто
идет студент.**

**В горностай
 постовой разодет...
Я люблю смотреть на белую рябь.**

**Фонари плывут над улицей —
горят.**

**Как наполненные пламенем
 ноли,**

**по-домашнему
горают фонари.**

**Пухлый снег идет,
и я за ним бегу.**

Снег запутался в сплетенье кустов...

**На снегу,
на очень тихом
 снегу —
восклицательные знаки
следов!**

О ЛИЧНОМ

Щуря глазки-щелочки
на незнакомых
Вась,
шерочка
 с машерочкой
танцевали вальс.
Танцевали сдержанно —
туфли берегли...

В перерыве к девушкам.
парни подошли.
Слышу я,
 как девочки
твердят одно.
Говорят
 девочки:
«Снимаемся в кино...
Работа непростая,
но верим
 в нее...»
А я ведь их
 знаю.

Это все —
вранье.
Ведь завтра этим девочкам
не танцевать.
Завтра этим девочкам
рано вставать.

Вяло разговаривая,
сойти

с крыльца.

На седьмом трамвае
доехать до кольца.
Не острить с мальчиками,
а мимо идти
и работать

смазчицами

с восьми

до пяти...

Девочки стыдятся
работы своей.

Стыдятся —

боятся

потерять парней.

Поэтому так долго
врут

про житье.

И совсем недорого

берут за вранье.

Выдумывают деньги,
себя горяча.

Папу —

академика.

Маму —

врача.

Очень увлеченно
говорят,

галдят...

Что они?

О чем они?

Чего

хотят?..

Собою

гордиться.

Личное

найти.

Своего,

единственного

встретить в пути.

У него,
у сильного,
обмякнуть в руках.
Хочется красивого
встретить...
А как?
Пусть даже неприметного! —
Лишь бы
своего...

Ну, и что из этого?
Да так...
Ничего...

ТАК И НАДО!

Не поможет здесь

НИ ПЕСНЯ И НИ ЛАСКА.

**В доме все воспринимают без обид
лишь тогда,
когда качается колыска,
мальчик спит...**

Слышно:

за стеной соседи кашляют.

Слышно:

ветер

снег сдувает с крыш...

Я не знаю,

что врачи на это скажут,

но, по-моему, отлично,

ЧТО МАЛЫШ,

только именем одним еще отмеченный,
примыряющийся к жизни еле-еле,
ничего пока не видевший,
трехмесячный, —

и уже

СТОЯНКИ

не приемлет!

Так и надо —

он увидит страны разные!

Так и надо —
задохнется на бегу!...

...Я с коляски тоже
начал странствия —
до сих пор остановиться
не могу!

* * *

Нахожусь ли в дальних краях,
ненавижу или люблю —
от большого,
от главного

я —
четвертуйте —
не отступлю.
Расстреляйте —
не изменю
флагу
цвета крови моей...

Эту веру я свято храню
девять тысяч
нелегких дней.

С первым вздохом,
с первым глотком
материнского молока
эта вера со мной.

И пока
я с дорожным ветром
знаком,
и пока, не сгибаясь,
хожу
по не ставшей пухом земле,
и пока я помню о зле,
и пока с друзьями дружу,

и пока не сгорел в огне,
эта вера
будет жива.

Чтоб ее уничтожить во мне,
надо сердце убить
сперва.

* * *

Я не был еще.
Все, что сказано,
зряшным,
наивным кажется.
Все вышло не так, как виделось.
Не выстрадалось.
Не выявилось.

Меня чудаки
то похваливают,
то ругают,
а то уговаривают.
Дают советы рискованно...
А мне
ни жарко,
ни холодно.
Не потому, что начисто
хожу
в чересчур зазнавшихся,
считая разумом собственным
себя
совершенно особенным.
Если бы так,
то яростно
я сам над собой смеялся бы.
Не больно было б,
не горестно
жить,
соблюдая спокойствие.

Но вот все чаще случается:
строчка не получается.
Кровью не наполняется.
Сердцу не подчиняется...
Но вот все чаще случается:
мною

друзья огорчаются.
И мне перед совестью собственной
совестно,
очень совестно.
А тут и приятели ловкие
пути предлагают легкие.
Советы дают подробные...

«А что, если я попробую?!
Себя в это дело
впутая...»

Но это
слабость минутная.
И снова,
лишь мне обещанная,
бумага лежит трепещущая.
Приходит крутая бессонница.
И сердце с нею
не ссорится.
Уверенность в сердце высится;
все выскажется!
Все выстрадается!..
А после
с ухмылкой пристойною
я слушаю речи застольные,
взгляды ловлю я жадные,
плюю
на злое брюзжание.
И твердо знаю на будущее:
я не был еще,
Я буду еще!

Uz cykna

*"HA CAMOM
DALBHEM
ZANADE..*

1963-1965



Небо черное в румянце,
Зной
объятья
распростер.
Наши волосы дымятся!
Мы
садимся
на костер!
Он —
под нами
в желтом нимбе.
(Летчик,
друг,
повремени!)
Все мощней,
все объяснимей,
ослепительней
огни!
И уже дома подробны,
И понятно,
что —
куда.
И видна
аэродрома
ровная сковорода.
Соберите волю,
йоги!..
Что мне делать?
Я —
не йог...
Приземляемся в Нью-Йорке!
Надвигается Нью-Йорк!
И назад нельзя
ни шагу.
Мы
бросаемся в него!..
— Жарко будет?
— Очень жарко...
— Перетерпим.
Ни-че-го!

22 НОЯБРЯ 1963 ГОДА

Все в памяти

жестоко и чеканно.

Я выпускаю этот день из рук...

Дождь

над пустынным,

каменным Чикаго.

Обычный дождь.

Негромкий дождь.

И вдруг!..

Как по команде,

изменилась улица.

И флаги под дождем

забились тяжело.

И в лифте

всхлипывает негритянка,

как будто почерневшая

от ужаса.

Над городами оторопь повисла,

и ветер зацепился в проводах.

И дождь идет!

И хрипнут телевизоры.

Все сбивчиво.

Все странно.

Все не так...

Америка, послушай!

BOT,

не с кем-нибудь,

с тобой,

с тобою лично!

Слышишь ты?..

Из черной рамки
просто смотрит
Кеннеди

в твои глаза.

Вот так.

Из темноты.

Чего же ты отводишь взгляд,
Америка?

О чем бормочут дикторы твои?

Что объяснить они
тебе намерены,

сверхопытные

телесоловы?

Ах да, забыл:

ты ж к выстрелам привыкла.

Подумаешь, —
еще один стерпеть!

Подумаешь, —
тебе ль
бояться

выстрелов?!

Подумаешь?!
/

Подумаешь теперь...

Врываются

лихие и трубастые

сирены полицейские в окно.

О, как твоя полиция опаздывает!

Как громко!

Как шикарно!

Как умно!..

К нам в комнату

вползает сумрак

медленно.

Портрет

к газетной полосе

притерт...

Задумайся!

Задумайся,
Америка!..

В Чикаго

ночь.

В Чикаго

дождь идет.

ТАНЦУЮТ ИНДЕЙЦЫ

Бум!
Это не костюмированный
бал.

Бум!
Это грянул
боевой
барабан...

Бум!
Он рокочет,
как размеренный
пульс.

Вот в него вплетается
звяканье
бус.

В барабанном рокоте
слышится мне:

«Мы когда-то жили
в этой самой
стране.
Мы сейчас шагаем
по отцовским гробам...

Громче,
барабан!
Чаще,
барабан!

Будто бы,

будто бы
все
как тогда, —
наша
земля,
наша
вода!
Наши вигвамы
у Зеленой горы.
За этими деревьями —
наши костры!..
Шли мы на охоту,
как река из берегов.
Только по скальпам
считали мы врагов!
Мы —
люди из племени
Справедливого Орла
Смейся, бледнолицый.
Твоя взяла!
Смейся, бледнолицый.
Кричи,
воронье...
Это ты
здорово придумал —
ружье.
Это ты
здорово придумал —
спирт.
Кто не убит,
тот как мертвый
спит...
Мы остановились.
Мы глядим,
удивясь:
«Ах, какая шелковая кожа
у вас!
Ах, какие волосы
у ваших жен!..»
А если
по шелковой коже —
ножом?!

А если бы,
а если
посреди тишины
снова позвала бы нас
тропа войны?!

Как бы над росой
свистел томагавк!
Ах, какие скальпы
дымилась бы
в руках!
Наши барабаны
выбивали бы

такт...

Не бойтесь!
Не будем.
Это мы...

так...

Это на секунду
нас обожгла

жаркая кровь
Справедливого Орла.
Мы нарежем ленты
из березовой коры...

Смейся, бледнолицый!

Мы —

дикари...

Будем сниться детям твоим

по ночам...

Видишь?

Это пляшет

наша печаль!

Танец наш древнее,
чем отцовский вигвам.

Он,

скорей всего,
не понравится
вам.

Пусть!..

Но заплатите

хотя бы за то,
что мы здесь жили прежде!

А больше —

никто».

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ

Каждый последний четверг ноября американцы празднуют День благодарения. Это праздник в честь первых поселенцев, появившихся на Американском континенте.

Слишком солнечный четверг
 праздником оказывается!
Вспомним песни прошлые.
Вспомним танцы древние...
Слышишь,
 как колокола
 широко
 раскачиваются?

День благодарения!
День благодарения!
По улицам,
 дразня, плывут особенные запахи.
И даже в утлые углы
 залезть они решаются.
На самом Ближнем Западе,
на самом Дальнем Западе,
стреляя салом в поваров,
 сейчас индейки
 жарятся!

**Скоро на столах задышат
заварные пудинги.**

Скоро хрустнут на зубах
коричневые корочки.
На усталых животах
расстегнутся пуговицы.
Станет жарко в городе!
Станет пьяно в городе!
День благодарения!
Блестят глазенки
у детей.
День благодарения!..

И сразу же добрею я:
ведь для меня
давным-давно
каждый день,
любой день —
День благодарения!
День благодарения!
Я благодарю село
по имени Косиха,
благодарю за доброту,
за ощущение истины.
Суматошным друзьям
я говорю:
«Спасибо!»

И низко кланяюсь земле,
Моей земле.
Единственной.
Я на ней
узнал
мир.
Я на ней
от вьюг
слеп.
Обошел я на ней
все леса и просеки.
Ел я каменный хлеб.
Черный хлеб.
Трудный хлеб.
И его благодарю
до последней крошечки
Я благодарю
судьбу

с ее прямыми сроками
за то,
что было солнечно.
За то, что было ветрено.
На колени становлюсь.
Ладонью

землю трогаю.
Говорю своей земле:
«Будь во мне уверена...»
Как звонят колокола!
Вблизи

и в отдалении.
Как звонят колокола!
А может, это кажется?..
Над моею головой

солнце
раскачивается.

День идет.
Жизнь идет.
Жизнь благодарения.

ПАМЯТИ ХЕМИНГУЭЯ

Уходят,
 уходят могикане.
Дверей не тронув.
Половицами не скрипнув.
Без проклятий уходят,
Без криков,
Леденя.
Навсегда затихая.

Их проклинали
 лживо,
хвалили
лживо.
Их возносили.
От них отвыкали...
Могикане
удивлялись и жили.
Усмехались и жили
 могикане.
Они говорили странно,
поступали странно.
Нелепо.
 Неумно.
 Неясно...

И ушли,
не испытав
 страха.

Так и не научившись
бояться.

Ушли.

Оставили

ветер весенний.

Деревья,
посаженные своими руками.

Ушли.

Оставили

огромную землю,
которой очень нужны
могикане.

СТИХИ О СЕБЕ

Бар,
 табаком растерзанный,
Коктейли, —
хоть стой, хоть ложись...
«Ну, как вам,
 мистер Рождественский,
эта красивая жизнь?
Такое у вас бывает?
Ответьте
 без ложных поз.
Здорово здесь «загнивают»?
Что?
 Завидно небось?..»

Шагает
 мистер Рождественский,
по мелькающей авеню.
Толкутся рекламы
 дерзкие,
конкретные, как меню.
Развешанные,
как неводь.
Издеваясь,
 дразня,
 дерзя...
Вроде бы
верить
 не во что,
а все ж не поверить нельзя.

Думает
 мистер Рождественский,
что завтра в десять утра
орава
 корреспондентская
снова скажет:
«Пора!»
И будет
 допрос с пристрастьем,
И будут
 в иглах слова.

И снова придется
 драться!
И это —
как дважды два!..

Шагает
 мистер Рождественский
сквозь мельтешащую муть.
Идет он по улице —
тесной,
как ботинки,
 которые жмут.
И нарастают тени.
И нелегко на душе.
И завтра пройдет
 неделя,
а кажется —
месяц уже...

Тоскует
 мистер Рождественский
о словах
 «дорога домой».
О человечке потешном,
которому
хлынул седьмой.
Еще —
 о губах торжественных.
Еще —
 о пустых лесах.

О слишком ревнивой
женщине.
О добрых
ее глазах.

Шагает
мистер Рождественский
сквозь чей-то гортанный смех...
А где-то —
хрупкий,
растерянный —
на землю
падает снег...
Мистер
машин не слышит.
По улице,
как по тропе,
идет он в отель.
И пишет
вот эти стихи.
О себе.

МОГУТ!

Небоскребик выстроить —
проще, чем плюнуть.
Легче,
наверное,
нет ничего.
(Если, конечно,
имеются люди,
которые могут
построить его...)

Пока вы спите,
пока вы курите,
пока вы в дешевом кино
рыдаете,
взрослые дяди играют в кубики.
Ах, как играют
взрослые дяди!
С каким упоением!
С какою жадностью!
Как они гладят стекло
любовно!
Тоннами двигают!
Это им — запросто!
Это —
работа.
Работа!
Работа!
Это привычные жесткие ритмы.

ОТТУДА

На том
 материке
твоя звезда
горит.
На том
 материке
ты тоже —
материк!..
Постукивает дождь
по синеве окна.
А ты глядишь на дочь.
А ты сидишь одна.
Прохладно, как в лесу
в предутренней тиши...
Тебя я знаю всю.
(Не слушайте,
ханжи!)

Ты,
 как знакомый дом,
не требуешь
похвал.
Открыта,
 как ладонь,
Понятна,
 как букварь...
Но так уж суждено:
и раз,
 и два подряд

взглянула ты,
и взгляд, —
как белое
пятно!..

Ты
тоже
материк!
Разбуженная глубь...
Я вечный твой
должник.

Я вечный твой
Колумб.
Мне
вновь ночей не спать,
ворчать на холода.
Мне снова

отплывать
неведомо куда.
Надеяться, и ждать,
и волноваться зря.
И, вглядываясь
в даль,

вовсю вопить:
«Земля!!»
Намеренно грубя,
от счастья

разомлеть.
И вновь открыть
тебя!
Открыть,
как умереть.

Блуждать
без сна и компаса
в краях
твоей земли...

И никогда
не кончатся
открытия мои.

Чтоб не около скамейки,
а после, —
там, где в зарослях
темные проходы...

А за ним охрана
в джинсах ковбойских.

И на поясе у каждого —
кольты.

Охранение
шествует
солидно.

В мягких шляпах,
как ведется на Юге...
Вот пылит на самокате
Жакелина —

долгоногая,
в коротенькой юбке...
Президент красив.
Он скорость повысил.

Он охрану обгоняет бесстрашно...
И тогда-то

из кустов
хлещет выстрел!
А потом еще!
И несколько сразу!..
Президент из машины выползает
и, шатаясь,
ковыляет к скамейке.
Не помогут доктора!
Он

занят.
Бесконечно занят
собственной смертью.

Игры прошлые его закалили.
Подойти к нему жену
попросите...

Почему-то
в глазах у Жакелины
абсолютно настоящие
слезинки.

Солнце пыльное
на части дробится.

Духота вокруг.

А мне сейчас морозно!..

Я смотрю:

охрана

ищет

убийцу.

Не вправдашно ищет.

Понарошку...

На аллеях беготня,

трещат залпы.

За моей спиной

слегка дрожит ветка...

А во что они

начнут играть

завтра, —

дети

громыхающего

века?

В КЛУБЕ МИЛЛИОНЕРОВ

Или обманули,
или адрес неточен.
Тихая идиллия
почти семейных
пар...
Может, это папы
развлекают дочек?
Но отчего
лоснятся глазки
у пап?
Может, это дяди
вывезли племянниц?
(Тоже, посочувствуете,
нелегкий труд...)
Но отчего
у дяденек
на лысинах румянец,
когда они за локотки
племянниц берут?..
Им сегодня весело,
весело,
весело!
Дочки и племянницы
взвизгивают тайком...
Надо только выбрать
королеву вечера —
самое главное
на празднике таком.

Выбрать королеву!
Все великолепно...

Старичка у двери
бросило в жар!
Входят
кандидатки
на должность королевы —
в бикиничках
под музыку
входят в зал!
Они себя
каждому
подносят, как подарок.
Идут между столиками,
показывая загар.
Идут через сопение.
Идут через подагры,
через пепел,
падающий
с дрожащих сигар!

Девчонки
по залу
проходят, не торопятся.
Заняты,
как кроссворды.
Как струночки,
прямы.
Покачивают бедрами.
На эстраде
строятся.
«Смотрите,
выбирайте.
Вот какие мы!»

Которая?
Которая
королева вечера?
Самая-рассамая!
Чтоб лучше
нельзя.
Выбрали!
Вот она —
короной увенчана.

Выверена,
вымерена,
выхолена вся!

Королева вечера,
вечерняя дева.
У нее прическа
как буддийский храм.

Белое тело,
роскошное тело...

Почем
берешь
за килограмм?

АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

Мы все поражены:
на поле
вышли
парни.
Тяжелые,
 как башни.
Округлы,
 как слоны.
Такой снесет,
не ноя,
рояль на пятый этаж.
Такого встретишь ночью, —
сам
 часы отдашь...

Судья, как повелитель
и главный уговариватель,
уже смахнул пылинки
с мяча
продолговатого.
Потрогал на затылке
остаточек волос.
Подождал затишья,
и...
Началось!
Схлестнулось!
 Сшиблось!
 Грянуло,
пенясь и клубясь!

Ни бога нет,
ни дьявола!..

Смотри:
дают
пас!
Как точно,
погляди-ка!
Не смогли закрыть...
Ну,
золотая дынька,
показывай прыть!..

И парень
мчит по краю.
Мчит, как от собак.
Как будто он
ограбил,
по крайней мере, —
банк!
Как будто он
ребенка
вырвал из беды.
Мелькает,
как рыбешка
в кипении воды.
Мяч прижимает к телу,
не видит ничего...
Где ему!
Где ему!!

Ох,
как
его!!
Подрубленный, подкошенный.
Р-р-р-раз!
И все дела...
А над ним
роскошная
куча мала...
Кончаются силы.
Нет пяти зубов...
А может, это —
символ,

а вовсе
не футбол?..
Смотри:
свершилась,
 грянула
твоя земная
жизнь!
Ни бога нет,
 ни дьявола!
А теперь держись!
Твоя судьба написана.
Не верь
 ничьим
 слезам.
Бицепсами.
Бицепсами.
Сам!
 Сам!
 Сам!..
Побежденный стонет.
Смерть глядит
 в упор...

Это вам
не что-нибудь.
Футбол!
Футбол!

КАФЕ «ФЛАМЕНГО»

Кафе называлось, как странная птица, — «Фламенго».

Оно не хвалилось огнями,
оно не шумело.

Курило кафе
и холодную воду
глотало...

Была в нем гитара.

Ах, какая была в нем гитара!
Взъерошенный парень

сидел на малюсенькой сцене.

Он был непричесан, как лес,
неуютен, как цепи.

Но в гуле гитары
серебряно

слышались трубы, —

**с таким торжеством
он швырял свои пальцы
на струны!**

Глаза закрывал
и покачивался полузабыто...

В гитаре была то ночная дорога,
то битва,
то злая веселость,
а то

колыбельная песня.

Гитара металась!

В ней слышалось то нетерпенье,
то шелест волны,
то орлиный

 рассерженный клекот,
зубов холодок
и дрожанье плечей
 оголенных.

Задумчивый свет
и начало

 тяжелого ритма...

Гитара
смеялась!

Гитара со мной

 говорила.

Четыре оркестра она бы смогла переспорить...

Кафе называлось,

 как чья-то старинная повесть, —

«Фламенго».

Дымило кафе

и в пространстве витало...

А парень

 окончил играть

и погладил гитару.

Уже незнакомый,

уже от всего

 отрешенный, —

от столика к столику

с мелкой тарелкой

пошел он.

Он шел,

 как идут по стеклу, —

 осторожно и смутно.

И звякали деньги.

И он улыбался чему-то.

И, всех обойдя,

к закопченной стене притулился...

Я помню,

я помню все время

 того гитариста!

Я чувствую собственной кожей,

как медленно-медленно

в прокуренном напрочь кафе

 под названием «Фламенгс»

на маленькой сцене
я сам коченею от боли,
Негромко
читаю
стихи.

Улыбаюсь.
А после
шагаю один
посредине растерянной ночи.
От столика к столику.
Так вот.
С тарелочкой,
Молча,

КСТАТИ ОБ ОБЫЧАЯХ

С чужими обычаями
 не стоит пререкаться.
Мы не пререкаемся.
Мы это знаем...
Тихие,
неслышные
 американцы
не спеша
по городу
 гуляют
за нами.
По жаре гуляют.
В дождик гуляют.
Выглядят скромно.
Говорят тихо.
Замкнутые парни
прогулочного типа
очень аккуратно
 наш маршрут
 повторяют.
Мы идем по улице.
 А они — сзади.
Сверлят наши спины взглядом воспаленным...
Мы уже два раза им
 город
 показали —
просто из машины
и с птичьего полета.

Мы уж с ними ездили
осматривать памятники,
вежливо стерпели доклад монотонный.
Все
сошло
гладко,
кроме легкой
паники —
что-то в их машине случилось с мотором.
Мы их за собою
таскали по музеям.
И они,
наверное, мучаясь искренне,
грустно и лениво
на Рубенса глазели,
споры о Матиссе
слушали издали.
По длиннющим залам
слонялись
упорно...
Господа в конгрессе!
Раз
такое
дело,
вы уж оцените эту нашу
заботу
о культурном уровне
работников госдепа!
Вы уж нас, пожалуйста,
как-нибудь отметьте —
мы же просвещали их
долго и активно...
До глубокой ночи
темнеют на скамейке
замкнутые парни
прогулочного типа.
Будто понимая
взгляды их обидчивые,
спать
мы
уходим.
И они уходят...

Мы не обижаемся.
Есть
такой обычай:
каждый
гуляет,
за кем он хочет.

ЧИСТО ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО ИЗ НЬЮ-ЙОРКА СЭМУ ЗВЯГИНУ, ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ПИЖОНУ

Привет, Семен!
Как существуешь,
Сэмчик?
Прости,
я не писал тебе давно...
По-прежнему «стреляешь»
без осечек
у предков
по червонцу «на кино»?
Как в институте?
С деканатом ссоришься?
Доказываешь «быдлу»
принцип свой?
Легко ль тебе,
приятель,
мэдиссониться
у рыжей Леночки?
на Беговой?
По-прежнему
ритмичен и неистов?..
Но отдохни хоть несколько минут.
Я расскажу, как здесь
танцуют
твисты!
Клуб битников.
Сейчас они начнут!

Клуб битников.
 Сейчас они покажут!..
 Но подождите!
 Что-то тут
 не так.
 Задребезжало,
 задрожало
 банджо.
 И тихо звякнули
 гитары
 в такт...
 И вышли трое.
 И запели трое.
 И тени
 заметались по стене...
 О сонных реках.
 О больном ковбое.
 И о его измученном
 коне...
 Овладевая залом постепенно,
 тая в себе особенный секрет,
 всходили
 настоящие напевы
 над огоньками
 горьких сигарет!
 Английские,
 еврейские,
 ирландские, —
 необъяснимые, как шар земной.
 Шептали грозно.
 Рокотали ласково.
 Дышали
 суеверной стариной.
 Текли слова,
 простые, будто семечки.
 Текли слова,
 зовя и теребя...
 И мне
 предельно жалко
 стало Сэмчика.
 Тебя, Семен.
 Сэм Сэмович.

Тебя!
Твоих невразумительных свиданий.
Лихой
магнитофонной
суеты...
Представь, что вот предел твоих мечтаний:
ночной Нью-Йорк.
Клуб битников.
И ты...
Не представляешь?
Извини подвинься!..
Я вижу,
как сюда приходит он —
Сэм Звягин —
чемпион Москвы по твисту.
Непризнанный,
но все же чемпион!
Вплывает в зал жестоко и красиво...
Вот девушка.
(Глядит поверх нее...)
— Вы мистер Звягин?
— Да!
— Вы из России...
А ну-ка спойте
что-нибудь свое...

... Начни, Сэм Сэмыч!
Напрягись,
болезный!
Чего ты вспомнишь?
Мамбо «Домино»?
Огрызочки
репертуара Прейсли?
Но, Сэм!
Ведь это не поют давно!
Тебя ж здесь просто могут
не заметить...

Тогда сиди!
Слова родимые долбай!
Хотя б «Дубинушку»,
и «Светит месяц»!

Учи,
старик!
Покедова,
Гуд бай!

Из сборника
"РАДУЦЕ
ДЕЊСТВУА..
1963-1965



ТРЕТЬЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ

Третье музыкальное, —
помнишь ты

или нет

худого и заикающегося
курсанта
двенадцати лет?

Которому сразу же дали
огромный бас-геликон...
Влезал я в него,

как в удава,
свернувшегося клубком.
Не просто

мы постигали

науку
часов строевых,
а кроме —
играли гаммы
и ненавидели их.

Гаммы

плыли из комнат
муторно и тяжело...
Но если случалось:

в город

училище
строем
шло
и нашему взводу
давались

редкостные права, —
уж как мы тогда старались, —
не передашь в словах!
Это была не работа,
а исполнение мечты!
Ревмя

ревели тромбоны!
Поддакивали альты.
Кларнеты

вовсю верещали,
но голос их
сразу пропал,
когда,

прохожих прельщая,
на совесть
забил
барабан!

Все это летело в лето
над строем знаменных пик.
Трубы ревели!

И флейты
впадали в щенячий писк.
Нас в холод и в жар бросало.
Была мостовая

мягка.

И были в груди у курсантов
не легкие,
а меха!

Не затихая,
дули!

Мелодия нас несла!
Синяя от натуги,
по городу
музыка
шла.

За нами бежали мальчишки,
завистливые и растерянные...

И мы

входили в училище —
гордые беспредельно!
Но старшина Иващенко,
вместо обычных похвал:

«Бездарно было,
товарищи! —
оценку игре

давал. —

Вы только понять сумеете
на данном этапе
одно:
каждому

инструменту

право на жизнь дано.

В каждом из них, —

заметьте! —

живая душа звенит.

Но грохотом

инструмента

ее нельзя заменить...»

Нас покидали силы,

мы шли на обед неприкаянно...

Спасибо тебе,

спасибо,

Третье музыкальное!

Нет никакого сладу.
И я на этом радиусе —

как на булавке
бабочка...

И больно мне,
и весело,
и тяжело,
и сладко...

О, радиусы действия!

Радиусы действия!

Они — во мне,
они — в любом,
и никакой

межи!

Есть радиусы действия

у гнева и у дерзости.

Есть радиусы действия

у правды и у лжи.

Есть радиусы действия

у подлости и злобы —

глухие
затаенные,
сулящие беду...

Есть радиусы действия

единственного слова.

А я всю жизнь ищу его.

И, может быть,

найду.

А может,
мне

не суждено...

Летят неразделенные
года!

Но, вопреки всему,
я счастлив

оттого,

что есть на свете женщина,
судьбой приговоренная
жить

в радиусе действия
сердца моего!..

* * *

С. Крассаускас

Кем они были в жизни — величественные Венеры?
Надменные Афродиты — кем в жизни были они?..

Раскачиваясь,
размахиваясь,
колокола звенели.
Над городскими воротами
бессонно горели огни.

Натурщицы приходили
в нетопленные каморки.
Натурщицы приходили —
застенчивы и чисты.

И превращалась одежда
в холодный
ничей комочек.
И в комнате
становилось теплее
от наготы...

Колокола звенели:
«Все в этом мире тленно!...»
Требовали:
«Не кощунствуй!..
Одумайся!..
Отрекись!...»
Но целую армию красок
художник
гнал в наступленье!

И по холсту,
как па бубну,
грозно стучала
кисть.

Удар!
И рыхлый монашек
оглядывается в смятение.

Удар!
И врывается паника
в святейшее торжество.

Стекла звенят в соборе...

Удар!
И это смертельно
для господина бога
и родственников его...

Колокола звенели.
Сухо мороз пощелкивал.
На башне,
вздыбленной в небо,
стражник седой дрожал...
И хохотал художник!
И раздавал пощечины
ханжам,
живущим напротив,
и всем грядущим

ханжам!
Среди откровенного холода
краски цвели на грунте.
Дул торжественный ветер
в окна,
как в паруса.
На темном холсте,
как на дереве,

зрели
теплые груди.
Мягко светились бедра.
Посмеивались глаза.
И раздвигалась комната.
И исчезали подрамники.
Величественная Афродита
в небрежной позе

плыла!..

А натурщицам было холодно.
Натурщицы
тихо вздрагивали.
Натурщицы были
живыми.

И очень хотели
тепла.
Они одевались медленно.
Шли к дверям.
И упорно
в тоненькие накидки
не попадали плечом.
И долго молились в церкви.
И очень боялись
бога...

А были
уже бессмертными.
И бог здесь был
ни при чем.

* * *

За тобой
 через года
иду,
не колеблясь.
Если ты —
 провода,
я —
троллейбус!
Ухвачусь за провода
руками долгими,
буду жить
 всегда-всегда
твоими токами...
Слышу я:
«Откажись!
Пойми
 разумом:
неужели это жизнь —
быть привязанным?!
Неужели в этом есть
своя логика?!
Ой, гляди —
 надоест!
Будет плохо...»
Ладно!
Пусть свое
 гнут —
врут расцвеченно.

С ними я
на пять минут,
с тобой —
вечно!
Ты —

мой ветер и цепи,
сила и слабость.
Мне в тебе,
будто в церкви,
страшно и сладко.
Ты —

неоткрытые моря,
мысли тайные.
Ты —

дорога моя,
давняя,
дальняя.
Вдруг —

ведешь меня
в леса!

Вдруг —
в Сахары!
Вот бросаешь,
тряся,
на ухабы!
Как ребенок, смешишь.
Злишь, как пытка...

Интересно мне
жить.
Любопытно!

ДОЧКЕ

Катька,
Катышок,
Катюха —
тоненькие пальчики.
Слушай,
 человек-два-уха,
излиянья
папины.
Я хочу,
 чтобы тебе
не казалось тайной,
почему отец
 теперь
стал
сентиментальным.
Чтобы все ты поняла —
не сейчас,
так позже.
У тебя
 свои дела
и свои
 заботы.
Занята ты долгий день
сном,
 едою,
 санками.

Там у вас,
в стране детей,
происходит
всякое.
Там у вас,
в стране детей —
мощной
и внушительной, —
много всяческих затей,
много разных жителей.
Есть такие —
отойди
и постой в сторонке.
Есть у вас
свои вожди
и свои пророки.
Есть —
совсем как у больших —
ябеда
и нытики...
Парк
бесчисленных машин
выстроен по нитке.
Происходят там и тут
обсужденья
грозные:
«Что
на третье
дадут:
компот
или мороженое?»
«Что нарисовал сосед?»
«Елку где поставят?..»

Хорошо, что вам
газет —
взрослых —
не читают!..
Смотрите,
остановясь,
на крутую радугу...
Хорошо,
что не для вас

нервный
голос
радио!
Ожиданье новостей
страшных
и громадных...

Там у вас,
в стране детей,
жизнь идет
нормально.
Там —
ни слова про войну.
Там о ней —
ни слуха...

Я хочу
в твою страну,
человек-два-уха!

КОЧЕВНИКИ

4. Чимиду

**У юрты ждут оседланные кони.
Стоит кумыс на низеньком столе...
Я знал давно,
я чувствовал,
 что корни**

Мои —
вот в этой
 пепельной земле!..
Вскипает чай задумчиво и круто, —
клубящегося пара торжество.
И медленно
 плывет кумыс по кругу.
И люди величаво
 пьют его...

А что им стоит
на ноги подняться,
к высокому порогу подойти.
«Айда!»
И все.
Минут через пятнадцать.
они уже не здесь.
Они —

в пути...
Как жалок и неточен
был учебник!
Как он пугал меня!

Как голосил:
«Кочевники!!»
Да я и сам
 кочевник!
Я сын дороги
Самый верный сын...

Все в лес смотрю.
И как меня ни кормят,
и как я над собою ни острою, —
из очень теплых
и удобных комнат
я
в лес смотрю.
Все время
 в лес смотрю!
То — север,
то — большое солнце юга!
То — ивняки,
то — колкое жнивье...
И снова
 я раскладываю юрту,
чтобы потом опять
собрать ее!..
Приходит ночь.
И вновь рассветы брезжат,
протяжными росинками звеня...
И подо мной,
 как колесо тележье,
поскрипывает
добрая
земля.

В БУДДИЙСКОМ МОНАСТЫРЕ

А. Туркову

Ламы,
а вы ничего себе внешне —
крупные парни...
В храме
во время моления
гул,
как в Центральной бане.
Пряно
и горьковато
по углам дымит можжевельник.
Плавно
в жилистых пальцах
колокольчики
ламы вертят.
Бухают
в барабаны священные
зло и безжалостно!
Букою
восседает администратор
этого джаза.
А из дымов
выплывают таинственно —
каждый по пуду —
двести двадцать томов
сочинений
непостижимого Будды!

Вечное благо,
где в тысячный раз —
изящная пропись...

Я согласен,
ламы:
ваш Будда —
усидчивый хлопец.
Это не мало,
но извините —
удивляться не буду:
сейчас графоманы
по числу томов
обскакали Будду.
Знаю вполне я
графоманий нахрап истошный.
Их сочиненья
постичь
невозможно тоже!..

Впрочем,
ладно, —
не будем в религию лезть глубоко...
Ламы!
Непыльная ваша профессия —
верить
в бога!
Морочить старух.
Пасти
человечье стадо...
Пока вам верят.
Пока вас кормят.
А вдруг перестанут?!
А что, если вам
не помогут
священные силы?!
Куда вы тогда подадитесь,
ламы?
В швейцары?
В кассиры?..
Чай
утомленным монахам
дежурный разносит.

Чад

плывет по загривкам,

щёкочет ноздри.

Ламы

сидят,

постигают молча

сущность нирваны.

Лампы

пятисотсвечовые

горят над их головами.

РЕМОНТ ЧАСОВ

Сколько времени?

— Не знаю...

Что с часами?

— Непонятно...

То спешат они,

показывая

скорость не свою.

То, споткнувшись,

останавливаются.

Только обоняньем

я примерно-приблизительное

время

узнаю...

Я сегодня подойду

к одинокому еврею.

(Там на площади

будочки выстроились в ряд.)

«Гражданин часовщик,

почините мне время.

Что-то часики мои

барахлят...»

Он, газету отложив,

на часы посмотрит внятно.

Покачает головою.

Снова глянет сверху вниз.

«Ай-яй-яй! —

он мне скажет. —

Ай-яй-яй!

Это ж надо!

До чего же вы,

товарищ,

довели механизм...

Может, это не нарочно.

Может, это вы нечаянно.

Для него,

для механизма,

абсолютно все равно!

Вы совсем не бережете

ваше время,

ваши часики...

Сколько лет вы их не чистили?

То-то и оно!»

Разберет часы потом он,

причитая очень грозно.

И закончит,

подышав на треугольную печать:

«Судя

по часам «Москва»,

вы уже

довольно взрослый.

И пора уже

за собственное время

отвечать...»

Я скажу ему:

«Спасибо...»

Выну пятьдесят копеек.

Тысяча семьсот шагов

до знакомого двора...

И машины мне навстречу

будут мчаться

в брызгах пенных.

Будто это не машины.

Будто это глиссера.

Разлохмаченные листья

прицепятся к ботинкам.

Станет улица качаться

в неоновом огне...

А часы на руке
будут тикать.
Тихо тикать.
И отсчитывать время,
предназначенное
мне.

САУНА¹

Об испытаньях прежних
не вспоминай пока что...
Ты —
 в сауне.
Ты — грешник.
И потому —
покайся!
Вживайся оробело
в блаженство и мученье...
Но если это —
пекло,
куда девались черти?..

Жара,
 жарынь,
 жарища,
не утихая, стелется.
Она теперь
 царица!
Она теперь
владелица!
Она погодой вертит.
А здесь,
в горниле сауны,
из флоры —
 только веник,

¹ Сауна — финская баня.

и только я —
из фауны.
И не хватает воздуха.
И дышишь —
как воруюсь.
Но тут же надо —
в озеро!..

А сможешь?
А не струсить?..
Наверное, сумею.
Конечно же, не струшу.
Сейчас я чуть помедлю
и выбегу
наружу!
Ведь мы, во всяком случае,
в своем существовании
и кипятками
варены!
И холодами
кручены!
Все в жизни повторяется.
И в нас уже
вколочено:
В холодное!
В горячее!
В горячее!
В холодное!

ПАМЯТНИК СОЛДАТУ АЛЕШЕ В ПЛОВДИВЕ

Отсюда видно
далеко-далеко.
Горизонт —
почти невесом.
Как ангел-хранитель
солдат Алеша
над Пловдивом
вознесен...

Алеша,
явно ошибся скульптор,
его твой облик
стеснял.
Наверно, он знал о тебе слишком скудно,
а может,
совсем не знал.
Ты выглядишь
этакой глыбой сонной,
которой нужны слова.
Ты хмурый в камне.
А был ты
веселым!
И от речей
уставал...
Туман упадет
легко и белесо
на неподвижный лес...

Сейчас я
старше тебя,
Алеша,
почти что
на десять лет.
Это я просто родился позже,
а так —
достаточно смел.
Я многое видел.
Ты видел
больше:
Ты видел
однажды
смерть...

Мертвых
не принято зря тревожить.
Не надо.
Уйди.
Откажись...
Спросить бы проще:
«Как смерть, Алеша?»

Я спрашиваю:
«Как жизнь?»
Вопрос мой
пусть не покажется вздорным.
Мне это нужно решить!
Той ли я жизнью живу,
за которую

ты перестал
жить?
Верь.
Это мой постоянный
экзамен!

Я все время
сдаю его.
Твоими безжалостными глазами
гляжу
на себя самого.
И этот взгляд
никуда не денешь —
он в каждом идущем дне...

Мне за две жизни
думать
и делать!

Два сердца
бьются во мне!
Не струшу я,
что бы мне ни грозило, —
мне в душу
смотрит солдат!..

Алеша,
я уезжаю в Россию.
Что
маме твоей
передать?

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

Мы в зале ожидания
живем.

Любой из нас
все время ждет чего-то...
Начальника

у дома ждет шофер,
поигрывая ключиком от «Волги»...
Вот аккуратный старичок в пенсне.
Он ждет.

Он едет в Вологду за песнями.
Старуха,
что-то бормоча о пенсии,
блаженно

улыбается во сне...
Безропотного мужа
ждет жена...

Девчонка ждет любви.
Ей очень боязно.

А на девчонку
смотрит старшина —
и у него есть целый час
до поезда...
Ждет поворота лоцман —
скоро

мель.
Учитель ждет
решения примеров.

Ребята

ожидают перемены.

Колхозы

ожидают перемен.

Разбуженная,
ждущая страна
и целый мир,

застывший в ожидании...

За нами —

штормовая тишина!

За нами —

нашей силы

нарастание!

Мы ждем открытий.

Мы друзей зовем.

Друг другу говорим

слова несладкие...

Мы

в зале ожидания

живем!

Но руки

в ожидании

не складываем!

ЧЕЛОВЕК

Пугали богами.
А он говорил:
«Враки!»

Твердили:
«Держи себя в рамках...»
А он посмеивался.
И в небо глядел.
И шел по земле.
И осмеливался!
И рушились рамки!
И вновь воздвигались
рамки...

«Держи себя в рамках...»
А он отвечал дерзко!
«Держи себя в рамках...»
А он презирал страхи.
А он смеялся!
Ему было в рамках
тесно.

Во всех.

Даже в траурной
рамке.

ПЕРЕЕЗЖАЕТ РОЩА

С ума сошла
роща.
Переезжает
роща.
Деревья взволнованы,
они кричат:
«Едем!
Со всеми манатками,
с гусеницами мохнатыми,
с росой
позванивающей,
с жуком-короедом.
С божьими коровками,
с паутиной проседью...
Давайте в кузове машин
присядем по традиции...
А потом
подыдемся.
А потом
тронемся...

Ну а как —
с птицами?
Как же быть
с птицами?
Прилетят птицы
голубыми клиньями.

Над землей забьется
удивленный плеск...
Покружат,
 потужат,
разведут крыльями.
Внизу вместо рощи —
голая плешь...»

А в коридоре поезда,
в коридоре поезда
слышно,
 как колеса
разговор ведут...

Мы едем,
мы едем,
хотя нам тоже
 боязно:
вдруг прилетят радости
и нас
не найдут?

АЛИ-БАЛА

Была ни была, —
крути,
Али-Бала!..
Ревет мотор,
по горло натруженный.
Разболтана дорога
и от пыли бела.
Крути, Али-Бала!
Накручивай....

Влетаем в повороты,
самих себя дразня.

В автобусе —
рассказы об авариях.
Хохочет Али:

«Берите пример с меня.

Если страшно,
я глаза

закрываю...

Дорога как дорога.
В порядке вещей...»

Но если что, —

не соберешь крошечки.

Под нами — крыша дома
в двенадцать этажей.

И наш автобус

шпарит по кромочке.

Али-Бала, не надо!

Али-Бала — чудак!

Навстречу нам

«Москвич» метет

пылью.

Скажи,

зачем мы лезем

на этот чердак?

Чего мы там,

Али-Бала,

забыли?..

А он все улыбается.

А он вошел в раж.

А он

баранку крутит рисково.

«Чего, говоришь, забыли?

Забыли увидеть рай!

И я тебе покажу его.

Скоро!

Ты ахнешь!

Ты заранее сердчишко уйми,

встречаясь

с удивительным Кавказом.

Я в том клянусь

своими

десятью детьми!

И одиннадцатым,

который уже

заказан...»

И снова мы взбираемся на спину скалы.

И зной такой,

что можно потрогать.

И чертит по зною

локоть Али-Балы,

левый

загорелый

локоть.

НОЧЬЮ

Как тихо в мире!

Как тепло...

А если

в этой тишине

ты —

мне

назло,

себе

назло —

устала

думать обо мне!

И номер набрала рывком.

И молча отворила дверь...

Я, может, даже не знаком

с ним —

постучавшимся теперь.

А если и знаком,

так что ж:

он — чуткий.

У него —

душа...

И вот

в ладони ты идешь

к нему,

белея и дрожа!

Не понимаешь ничего...

А простыни —

как тонкий дым...

И называешь
ты
его —
забывшись —
именем моим!
И падаешь, полужива.
И задыхаешься от слез.
И шепчешь жаркие слова.
Все те.
Все самые.
Всерьез!
А сумрак —
 будто воспален.
И очень пьяно
 голове...

Телефонистка — о своем:
«Алло!
Кого позвать в Москве?...»
«Кто подойдет...»
Наверно, ты.
А если он, тогда...
Тогда
пусть вычеркнется навсегда
твой телефон!..
Из темноты
приходит медленная боль.
А я уже над ней смеюсь!
Смешно,
что я вот так
 с тобой
то ссорюсь,
то опять мирюсь!
И мысли пробую смягчить,
весь —
 в ожидании грозы...

Как долго
телефон молчит!
Как громко
 тикают
часы!

* * *

Интересуешься искусством?
Великим,
дерзостным,
нескучным?

Тогда
поговорим о нем —
о трепетном,
о неплакатном...

Да, кстати...
Кто там с музыкантом
сидит
за угловым столом?..
Приятно быть все время в курсе
последних новостей искусства.
Нормального.
Без громких фраз...
Ты слышал?
Он недавно снялся
в кино.
И сразу же зазнался.
И женится
в четвертый раз...

Гляди:
вон тот поэт высокий
все время бродит сонный-сонный, —
конечно, глушит люминал...
Актрисочка.
Почти девчонка.

У ней любовников —
до черта!
Могу назвать по именам...

Интересуешься искусством?
Возвышенным,
дразнящим,
вкусным?..

Прозаик
подал на развод...
А этот
был с другою
летом.

А тот
живет с кордебалетом —
страдает, бедный,
но живет...

Интересуешься искусством?
Разнообразным,
а не куцым,
чтоб на любой вопрос —
ответ?..
Актер с любовницей в июне
устроил...

Слушай!
Вытри слюни
и отдохни...
«искусствовед»!

ПАРНИ С ПОДНЯТЫМИ ВОРОТНИКАМИ

Парни с поднятыми воротниками,
в куртках кожаных,
в брюках-джинсах.
Ох, какими словами

вас ругают!

И все время удивляются:

живы?!

О проблеме вашей спорят журнальчики — предлагают убеждать,

разъяснять...

Ничего про это дело

Вы

НЕ ЗНАЕТЕ.

**Да и, в общем-то,
не хотите знать...**

Равнодушно

меняются

СТОЛИЦЫ —

я немало повидал их, —

и везде,

посреди любой столицы,

ВЫ СТОИТЕ,

будто памятник
обманутой мечте.

Манекенами

к витринам приникшие,

каждый вечер —

проверяй по часам —
вы уже примелькались всем,
как нищие.

Что подать вам?
Я не знаю сам.
Завлекают вас
ковбоями и твистами, —
вам давно уже
поднадоел твист.
Вы покуриваете
и посвистываете,
независимый делаете вид.
Может,
девочек ждете?
Да навряд ли!
Вон их сколько —
целые стада.

Ходят около —
юные,
нарядные...
Так чего ж вы ожидаете тогда?!
Я не знаю — почему,
но мне кажется:
вы попали
в нечестную игру.
Вам история назначила —
каждому —
по свиданию
на этом углу.

Обещала показать
самое гордое —
мир
без позолоченного зла!
Наврала,
наговорила с три короба.
А на эти свиданья
не пришла...
Идиотская
неумная шутка!
Но история
думает
свое...

ДИПЛОМАТАМ НАШИМ

Ю. Воронцову

Дипломаты,
дипломаты, —
протокольная работа...

Где-то
на земле громадной
возле самого Тобола —
ветра

теплое движение,
тихий голяс:
«Сынку...
сынку...»

Сын —
как в добровольной ссылке.
Как в бою.
Как в окруженье.
Там не сладко.
Там — опасно.
Там протяжные туманы...
Сын —

не без вести пропавший.
Все о нем известно маме.
Но приказ —
суров и точен
(небольшое утешенье) —
сын

не может,

сын

не должен
выходить из окруженья...
На конверты смотрит мама, —
буквы ровные — нелепы.
А на заграничных марках
короли и королевы.
Пишет сын, что все нормально,
жаль —

погода утомила...

Дипломаты,
дипломаты —
на переднем крае
мира!

Дни —
то медленно,
то быстро,
только никогда не праздну...
Как легко вам ошибиться!
Как вам ошибиться

страшно!

Это стоит многих жизней.
Есть невидимые нити, —
вы ошиблись —
и ошибся
доменщик с Большой Магнитки.
И ошибся академик.
И скрипач

смычка не тронул.

У шахтера —

день потерян.

У хирурга —

скальпель дрогнул.

Вмиг спокойствия лишились
люди

самых разных званий.

И уже страна

ошиблась!

Вся!

Которая за вами!

Будет флаг багровый биться
и под ветром не сгибаться...

Как легко вам
ошибиться!
Как нельзя вам
ошибаться!..
Светятся окошки в МИДе.
Телетайп стрекочет важно...

Что-то завтра будет
в мире,
нервном,
как работа
ваша?

ВОЛЬФ МЕССИНГ

В гостинице швейцары —
жуты! —
официальны.

Зал украшен вывесками:
«Просьба не сорить».
Грудасто-необъятные
плывут официантки,
со следами молодости,
далекой,
как царизм.
А я их позабыл уже...

Автобус
грязь
месит.
Автобус филармонии
по лужам бежит.

На концерт к шахтерам
едет Вольф Мессинг.
Наверное, без Мессинга
они не могут жить.

Тучи над дорогой
залегли, нависли...
Едет Вольф Мессинг,
спокойствием лучась.
Шахтерские,
подземные,
подспудные мысли

начнет он, будто семечки,
щелкать
сейчас.

Пусть он чудодейством
на всех со сцены
дует,

отгадывает мысли, —
не все ль ему равно?

Но пусть вслух не говорит,
о чем шахтеры
думают,
потому что в зале
женщин полно...

И я со всеми вместе
от чудес немерю.

Ахаю!

Охаю!

Не верю глазам.

И вдруг...

Но позвольте!

Я это сам умею!

Не хуже Вольфа Мессинга умею.

Сам!

Я секрет открою.

Даром, — не жалко!

Не надо здесь особой

мудрости змеи...

Помнишь,

прошлым летом

я брал тебя за руку

и сразу же угадывал

все мысли твои!

На пустых пляжах

провисали тенты,

дождь —

будто нехотя —

лил без выходных...

А сейчас ты где-то.

И до этого «где-то»

надо ехать

долго,

на перекладных.

Сначала на автобусе
(чтоб он сказался).
Потом шагать рассыпчатым,
тяжким
песком.

Потом качаться в кузове бывшего ЗИСа.

И снова —
на автобусе.

И снова пешком...

Такие расстояния.

Такая погода.

Такие километры

сплошной колеи,

что даже если очень,

очень охота, —

как я угадаю

мысли твои?!

Как мне угадать их,

если мы не вместе

и земля за окнами

В ТЕМНОМ СНЕГУ...

Помогите,

Мессинг!

Можете,

Мессинг?

Я уже

пробовал.

Я не могу.

* * *

Вслушайтесь!

Вглядитесь!

Убивают

время.

Убивают время

сообща и в одиночку.

Будто бы друг с другом соревнуясь:

кто скорее?

Убивают в полдень.

Убивают ночью.

Убивают

время

нахально и молитвенно.

Убивают время

стыдливо и истошно.

Убивают

прямо перед окнами

милиции!

(Что там

«перед окнами».

За окнами —

тоже...)

Люди спотыкаются.

Погоду ругают.

На площадках лестничных

толкуются вдвоем.

Зазывают в гости.
Так и предлагают:
«Приходите...
 Как-нибудь
 вечерок...
 убьем...»

Люди суетятся.
Люди верят в слухи.
Ссорятся.
Ждут из Саратова
 родных.
Убивают время!
После —
 моют руки.
Чтоб не оставалось крови
на них...
Люди
 убивают время отрешенно.
Пухлые портфели загадочно несут.
Убивают
 собственное время.

И чужое.
И никто
 за это
не зовет их в суд.
И никто —
 ни разу! —
 не вручает похоронных,

Мол, «погибло время.
Нужнейшее.
Зазря...»
Падают
 минуты
повзводно и поротно.
Начиная
 с самого первого
января...
Мертвые минуты молчат,
 не обижаются.
Мертвые минуты
 выстраиваются в века...

**Зачем люди
плачут?
Чего докторам
 жалуются,
что мало успели сделать,
что жизнь —
 коротка?**

БАЗАР ТОГО ГОДА

Ю. Казакову

Базар?
Базар!

Торговки

базлали:

«Сахарин фасованный!..»

«Целебная махра!..»

Чего только не было

на этом базаре,

особенно

если в воскресенье,

с утра...

«Продам шинель новехонькую!

Сам бы носил — жалко!..»

«Брусничная настойка! —

Лекарство от невзгод!..»

«А ну,

кому

шаньги!

Румяные шаньги!..»

«А вот чудо-мыло...»

«А вот

костыль-самоход...»

«Прыгающий мячик —

детишкам на забазу...»

«Валенки!

Валенки на любой мороз!..»

Продавал ругательства —
за полтинник

пару —

чернявый
хриповатый
безногий матрос...
«Имеются ушанки.

Три кило ворсу...

Налетай, служивые!

Цена — пустяк...»

— А у вас, дедуся?..

— У меня

фокусы...

— Что еще за новость?!

Как это?..

— А так...

Он прямо на булыжнике

расстелил коврик.

Из собственного уха

огурец извлек.

И в мутноватой лужице

среди арбузных ксрок

заплавал,

заплескался

серебряный малек...

А старичок выдергивал

голубей из сумочки,

потом превратил полено

в заржавленную пилу...

Старичок старался!

Мелькали пальцы сухонькие...

«Э-гей!

Кому фокусы!

Недорого беру...»

Подходила публика.

Смеялись бабы в голос...

А мальчишка —

замерший,

как громом поражен,—

вдруг сказал:

— Дедушка...

Продай мне...

фокус...

Чтоб в конце фокуса...

папа...

пришел...—

Старичок

беспомощно пожал

плечами.

Цвела

победными лозунгами

щербатая стена...

Люди оглянулись,

Люди замолчали...

Кончилась,

Кончилась,

Кончилась

война.

ПИСЬМО ПРО ДОЖДЬ

Идут
обыденные дожди,
по собственным лужам скользя.
Как будто они поклялись
идти,
а клятву нарушить
нельзя.
Даже смешно —
ничего не ждешь.
Никакого чуда
не ждешь.
Засыпаешь —
дождь.
Просыпаешься —
дождь.
Выходишь на улицу —
дождь.
И видишь только
пустую мглу,
город видишь пустой.
Газировщица скрючилась на углу —
упорно
торгует водой.
А воды вокруг!
Столько воды,
просто
некуда разливать.
Это все равно
что идти торговать

солнцем —
там, где сейчас
ты!..

Послушай,
а может быть, и у вас
такая же чехарда?
У подъезда в глине
«газик» увяз,
на балконе слоем —
вода...

Если так, —
значит, в мире какая-то ложь!
Так не должно быть!
Нет!
Потому что нужно:
если мне —
дождь,

то тебе —
солнечный свет.
Как дочка, солнечный!
Как слюда!
Как трескучая пляска огня!
У тебя не должно быть дождей
никогда.

Пусть они идут
у меня...
А они идут —
слепые дожди.
Ни деревьев нет,
ни травы...

Пожалуйста,
это письмо
порви.
И меня за него прости.

А впрочем,
дело совсем не в нем.
Просто
трудно терпеть.
Море гудит за моим окном,
как поезд,
идуший к тебе.

ОТВЕТ НА ЗАПИСКУ ИЗ ЗАЛА

У записки
 начало деловитое.
А в конце —
прибавлено отважно:
«Я вам очень,
 очень завидую!
И завидую жене
вашей...»
И подписано:
«Студентка из Бауманского...»

Как мне ей ответить?
Зал —
как прорва.
Ненадолго от регламента избавившись,
я хочу ей ответить!
Я попробую.

Вы знакомы
со стихами и овациями.
Прочитали вы афиши
роскошные.
И, как видно,
посчитали авансом
остальную нашу жизнь —
такой же!
Фейерверком!
Парадной арией
в празднично-возвышенном стиле..

Ну представьте,
 если б
 об армии
только по парадам
судили!
Если б шёл солдат,
 помахивая ручкой,
элегантный,
разодетенький мужчина.
Если б не был землекопом он
 и грузчиком,
кто сказал бы про него:
«Защитник?!»
И у нас —
 свое.
Свои крутые штрафы.
Боль
 и труд —
 оглушительно тяжелый.
И своя —
суетливая —
слава.
И свои —
несчастливые —
жены...
Вдохновенье! —
Самому в себе
 тесно.
Вдохновенье! —
Как мертвый
 среди праздника.
Это —
 раскалившееся сердце
около холодного разума!
Это —
 как рождение ребенка!
Это —
 как личное рождение!
Самая черная
 работа
Самое чистое
 дело.

То, в котором
покоя не предвидится!

То,
которое
оглушает ширью.
В нем ты

сам себе —

народ

и сам —

правительство!

И нельзя,
даже в малости,
сфальшивить!
И плывет земля

в метелях и громе.

И судьба ее
с твоей судьбой слита.
Это все дается

только кровью!

А ее в человеке —
пять литров...

Но держаться

нужно!

Вот мы и держимся.
И последнее у нас
еще не спето...

В общем,
дай вам бог

солнца,

девушка!

И доброго мужа,

Не поэта.

ПИСЬМО В ТРИДЦАТЫЙ ВЕК

(Поэма)

1

Эй,
родившиеся в 3000-м
удивительные умы!
Археологи ваши
отыщут,
где мы жили,
что строили мы.
Археологи ваши
осмотрят
всё до мелочи,
всё подряд.
Снимут ржавчину.
Ретушь смоят.
Сладковатый лак
растворят.
Пыль сметут движением нежным...
И откроются до конца
очень древние,
окаменевшие,
наши
песенные сердца.
Те, которые отгорели
на бессмертных кострах
правоты,

разорвавшиеся
от болезней,
не стерпевшие
клеветы,
натрудившиеся,
двужилые,
задохнувшиеся в скоростях...

Я хочу рассказать,
как жили мы.

Я пишу вам письмо,
хотя
между нами пути неблизкие,
в человеческий рост
бурьян.

И к тому же
тетрадные листики —
слишком временный
материал.

Ну и ладно!

Пусть!

Я согласен.

Мир мой

тление опроверг.

Миллионы моих сограждан

пишут письма

в тридцатый век!

Пишут

доменными громадами

(по две тысячи тонн

в строке!).

Пишут письма

люди,

наматывая

на планету

витки ракет!

Пишут

тяжестью ледокола

там,

где не было ни строки.

Пишут письма,

беря за горло

океанский размах реки!

Пишут очень сурово и медленно,
силе собственной
удивясь...
Обязательно,
непременно
эти письма
дойдут до вас!

2

В 3000-м
в дебрях большого музейного здания
вы детям
о нашем столетье
рассказывать станете.

О мире,
расколотом надвое,
сытом и нищем!
Об очень серьезном молчанье
столбов пограничных.
О наших привычках,
о наших ошибках,
о наших
руках пропыленных,
ни разу покоя не знавших.
О том, что мы жили не просто
и долг свой
исполнили...

Послушайте,
всё ли вы вспомните?
Так ли вы
вспомните?
Ведь если сегодняшний день
вам увидеть охота,
поймите, что значат
четыре взорвавшихся года.
Четыре зимы.
И четыре задымленных
лета.
Где жмых —
вместо хлеба.

Белесый пожар —
 вместо света.

А как это так:
закипает
 вода в пулемете, —
поймете?
А сумрачный голос по радио:
«Нами... оставлен...» —
представите?

Поймете,
что значит
 страна —
 круговой обороной?

А как это выглядит:
тонкий
листок
похоронной.
Тяжелый, как оторопь.
Вечным морозом по коже...

Мы
разными были.
А вот умирали
похоже...
Прислушайтесь,
добрые люди тридцатого века!
Над нашей планетою
послевоенные ветры.
Уже зацветают
огнем опаленные степи...
Вы знаете,
как это страшно:
 голодные дети!

А что это значит:
«Дожди навалились
 некстати», —
представите?

А как это выглядит:
ватник,
 «пошитый по моде», —
поймете?..

не сразу,
не вдруг

Улыбку детей
к Мавзолею
несли Первомай.
И все это было привычно.
Прекрасно и трудно...
И вот наступило однажды

Был парень,
 одетый в скафандр.
 И ракета на старте.
 Представите?
 А как он смеялся

И город был полон улыбками,

О, как это сложно —
быть первыми!
Самыми первыми!
Когда твое сердце

А были
и тюрьмы.
О, сколько несправедливых тюрем!
Не надо,
пожалуйста,

**и вы
начинаетесь
в нашем нелегком начале!
Нельзя нас поправить.**

Нельзя ни помочь,
ни вмешаться...

Вам
легче —
вы знаете наших героев.
И наших мерзавцев.
Всех!
Завтрашних даже,
которые, злы и жестоки,
живут среди нас.
А быть может,
рождаются только.

Но вы-то,
конечно, поймете,
конечно, узнаете,
как были верны мы
высокому
красному знамени,
когда, распоясавшись,
враг
задышался от ярости!
Когда в наше сердце
нацелены были «поларисы».
В газетах тревожно топорщились
буквы колючие...

А мы
проверяли себя
правотой Революции!

Пылала над нами
ее зоревая громадина.
Она была
совестью нашей.

Она была
матерью.
Мы быстро сгорали.
Мы жили
не слишком роскошно.

Мы разными были всегда.
А мечтали
похоже.
И вы не забудьте о нас.

Ничего не забудьте,
когда вы придете,
наступите,
станете,
будете.

3

Расползаются слухи,
будто лава из Этны:
«В моду входят
узкие
брюки!
В моду входят
поэты!
Как встречают их,
боже!

Мода,
что ты наделала?!
В зале
зрителей больше,
чем поклонниц у тенора!..»

Это
слышу я часто.
Поднимаются судьи,
ощущая
начало
«священного» зуда.
Вылезают,
бранясь,
потрясая громами:
ах, мол,
разассонанс
вашу
милую маму!..
Как их вопли навязчивы!
Как их желчь откровенна!..

Вы простите,
товарищи
из тридцатого
века!

315

316

Пусть бушует в каждой строчке
простор.
Пусть невзрачные тетрадные листики
вместе с хлебом
лягут к людям
на стол!
Чтоб никто им не сказал:
«Угомонись!..»

Чтобы каждый
им улыбкой ответил.
Потому что создаем мы
Коммунизм —
величайшую
поэзию
на свете!

Знаю:
будет на земле
от счастья тесно!
Я мечтаю,
что когда-нибудь смогу
не построчно получать,
а посердечно:
хоть одно
людское сердце
за строку.

4

Да!
Мы — камни
в фундаментах ваших плотин...
Ход истории
точен и необратим.
Но опять мы встаем
из дымящихся лет,
мы —
живые, как совесть.
Простые, как хлеб.
Молодые,
как самая ранняя рань...
Мы
не верили
в ад.

Мы плевали
на рай!
Мы смеялись над богом!
Сами были богами.

И планета
гудела у нас под ногами...
Каждый день приносил вороха новостей.
Целовали мы теплых,
сопящих детей.

Уходили из дома
туда, где бои,
веря в сердце свое.
Веря в руки свои...

Сомневались мы?

Да.

Тосковали мы?

Да!

А еще

называли свои города
именами любимых.

И, жизнь торопя,
открывали

себя,
утверждали

себя!

Выходили со смертью —

один на один...

Да!

Мы — камни

в фундаментах

ваших плотин.

Но у этих спокойных, молчащих камней
было столько

пронизанных радостью дней!

Было столько любви,

было столько мечты!..

Мы

с планетой своей

говорили на «ты».

Нас несли самолеты,

Везли поезда...

Жаль, что времени
нам не хватало всегда!
Что его
никому не давали взаймы...

В землю
благословенную
падали
мы.
Оборвав свою песню,
закончив пути, —
семенами ложились,
чтоб завтра
взойти!
Мы мечтали о том,
как вы станете жить.
И от будущих дней.
нас нельзя отрешить.
Мы
спокойны за вас.
Мы обнять вас хотим.
Мы —
основа.
Фундаменты
ваших плотин.

5

Я пишу письмо в ХХХ век.
Просто.
Без особенных подробностей...

Слышу:
«Размахнулся человек!..
Эй,
приятель,
не помри от скромности!
Фантазируй!
Мы таких
видали.
Взялся удивлять —
так удивляй!..

**Но зачем в тридцатый?
Можно дальше!
Что уж ты
 стесняешься?**

Ну, а если бить наверняка,—
ты б дожид
до будущего года,
пишущий

Сможешь?..»

парень!

забавен,

Только он

человек?..»

Я пишу письмо

Вы,

живущие в трехтысячном,

как в двадцатом веке —

притихшее —

Человечество

ГЛЯДИТ В ЛИЦО ВОЙНЫ...

Почему мне это
иногда видится?
Почему мне в это
иногда верится?..
На последнем берегу —
Человечество...

Позабыты все цари
и все правительства.
Позабыты рассуждения о вечности...
На последнем берегу —
Человечество.
А над миром остальным —
туман стронция.

Никому не повезет,
не поздоровится.
Надвигается
бескровное месиво...
Речь идет не о годах.
Речь —
о месяце...
Все мечты о чуде будущем
брошены.

И осталось только прошлое.
Прошрое.
Много прошлого.
Чуть-чуть
настоящего.
Непонятного.
Хрупкого.
Пустячного.
А рассветы загораются
бледные...

Наступает все последнее.
Последнее!
Вот
последняя весна пришла —
нежная.

Никогда еще
такой весны
не было!
Никогда еще
так не цвели ландыши.

И запуталась роса
в травинках радужных.
И в реке —

теплынь.

Течет река летняя.

Все последнее,

последнее,

последнее.

Все кончается.

Конца

дожидается...

А в больнице

мальчишка

рождается.

Не урод рождается —

красавец рождается!

И плюет на все!

Ни с чем не считается.

Заявляет о самом себе

радостно!

На него врачи глядят

с горькой ласкою.

Облака плывут над ним.

Светло.

Доверчиво...

На последнем берегу —

Человечество.

И над мертзою землею —

солнце медное.

С океана дует ветер.

Мертвый.

Медленно.

И проклятия

становятся нелепыми...

На земле

отныне

ничего не было!

И Эйнштейна

не было!

И не было

Байрона!

Которая давно
перешагнула время!
Перенеслась в порыве
в грядущее Земли...
Не мы

ее открыли.

Не мы

изобрели.

Но все равно,

смотри!

Судьбою становясь,
она застигла

нас!

Она застигла

вас,

далекие мои!

Все повторится вновь!

И ахнет человек —

холодным

станет

зной!

Горячим

будет

снег!

Придет пора цветов,

брусники и грибов....

Спасибо, жизнь,

за то,

что я узнал

любовь!

Ее всесильный гнев

безвременья

страшней.

Запреты,

побледнев,

склоняются пред ней!

Она царит высоко.

Над ней

дожди звенят.

Ее невнятный шепот

слышнее

канонад!

Да здравствует любовь,
пронизанная светом!
Да здравствует
любовь,
обнявшаяся с веком!
Пусть
в каждом новом дне —
чиста и непокорна —
любовь
идет ко мне,
идет,
как песня к горлу!

8

Над городами,
над тишиной —
звездные точки...
Женщина,
спящая рядом со мной, —
мать
моей дочери.
Дышит
женщина рядом со мною
сухо и часто.
Будто она устала,
основывая
новое царство.
Ни пробужденья,
ни света,
ни сумерек —
как не бывало!...

Вдумайтесь,
сколько грядущих судеб
она
основала!
Сколько свиданий,
сколько рождений,
сколько закатов!
Слов непонятных,
жарких постелей,
светлых загадок...

Сквозь дымчатые облака
скользя,
выгнутся радуги.
Однажды,
проснувшись,
протрут глаза
внуки и правнуки.
Заполнит комнату запах
лесной
прелой травы...

В женщине,
спящей рядом со мной,
дремлете вы!
В женщине этой
затеплилась завязь
вашего века!..

В сером окне,
к стеклу прикасаясь,
выгнулась ветка...
Каждому в мире
имя
отыщется.

Дело найдется...
Но в котором из тех,
кто рожден
в трехтысячном,
кровь моя бьется?
Кто же он —
родственник мой шальной
в вашей стране?..
Женщина,
спящая рядом со мной,
стонет во сне.
Тени —
от пола до потолка.
Хочется пить...
Мы будем жить на земле,
пока
будем
любить!

Мне,
будто плазание кораблю,
слово: «люблю!»
Строки
медлительные
тороплю —
люблю!
Глыбищи
каменные
долблю,
лунный луч
в ладони
ловлю, —
люблю!..
А у нашей любви
четыре крыла,
ей небо —
вынь да положи!
И ни одного
тупого угла —
острые сплошь!..
Но если та,
которая
спит,
вздрогнет вдруг от обид
и если,
муки свои
измерив,
обманет,
изменит, —
я зубы стисну
и прохриплю:
люблю...

9

Ну, как живется вам
в тридцатом веке?
Кто из людей планеты
мир потряс?
Какие Сириусы,
какие Веги
в орбитах ваших беспокойных трасс?

А как Земля?
А что ей,
старой,
помнится?
Все счастливы?
Все сыты?
Всем тепло?..
Материки —
от полюса до полюса —
цветущими садами
замело,
Невиданных
хлебов
великолепье —
колышущийся
бронзовый прибой...
Да что все о хлебе
да о хлебе?!
Я с детства
уважаю хлеб
любой!
«Спасибо!» —
говорю ему заранее...
Но после стольких тягот
и утрат
неужто Коммунизм —
большая жральня,
сплошной
желудочно-кишечный тракт?!
Неужто вы
едою одержимы?!
Добавочными ужинами
бредите?!
Работают
серьезные машины.
А вы
тупеете?!
А вы
жиреете?!
Не верю!
Невозможно так!
Не верю!!

Придуманная
 злая ерунда...
Ведь если допустить
 хоть на мгновенье,
что вы —

 такие,
все смешно тогда!
Смешно,
что мы болеем общей болью
и нам пути иного
не дано!
Смешно,
что мы для вас

 готовы к бою!
И даже то, что победим, —
смешно!
Нет!
Вы

 такими
никогда не станете!
Дорога ваша
 мир не рассмешит.

Я знаю,
незнакомые мечтатели,
вам будет тоже
 очень сложно

 жить.
Придется вам и тосковать нежданно,
и вглядываться в новые века.
И разбираться
в неприступных тайнах,
которые не снятся нам
пока...

Знамена наши
 перейдут к потомкам,
бессмертным цветом
озарив года!
Еще краснее будут пусты!

 Но только
чтоб не от крови.
Чтоб
 не от стыда.

Я —
 по собственному велению, —
 сердцу
 в верности
 покаяясь,
 говорю
 о Владимире Ленине
 и о том,
 что главное в нас.
 Вот уже,
 разгибаясь под ношей,
 вырывается мир
 из тьмы!
 Начинаются горы
 с подножий.
 Начинаемся
 с Ленина
 мы!
 Мы
 немало столетий ждали
 и вместили в себя
 потому
 силу
 всех прошедших восстаний!
 Думы
 всех Парижских коммун!..
 Неуступчивы.
 Вечно заняты.
 Мы идем
 почти без дорог...
 На истории
 нет указателей:
 «Осторожно!
 Крутой поворот!..»
 Повороты встречались
 жадные,
 пробирающие как озноб.
 Даже самых сильных
 пошатывало.
 Слабых —
 все валило с ног!

Жгли сомнения.
Шли опасности,
с четырех
надвигались
сторон...

Но
была на планете
партия —
та,
которую создал
он!
Мир
готов за нее поручиться
перед будущим
наверняка!

И лежит
на пульсе Отчизны —
вечно! —
ленинская рука.
Он —
ровесник всех поколений.
Житель Праг,
Берлинов,
Гаван.
По широким
ступеням столетий
поднимается Ленин
к вам!
Представляю яснее ясности,
как смыкают
ваши ряды
люди
ленинской гениальности,
люди
ленинской чистоты.
Не один,
не двое,
а множество!
Вырастающие,
как леса.

И по всей Вселенной
разносятся
их спокойные голоса...
Что ж,
для этого мы и трудимся.
Терпим холод.
Шагаем в зной...
Ведь еще только начал
раскручиваться
и раскачиваться
шар земной!
Прозвучи,
сигнал наступления!
Солнце яростное,
свети!..
Все еще
впереди!
И Ленин,
будто молодость,
впереди!

11

Завидуйте нам!
Завидуйте!
До самых
седых
волос.
Вы
никогда не увидите
того,
что нам
довелось.
Завидуйте яростным,
полуголодным,
счастливейшим временам!
Завидуйте
нашим орущим
глоткам,
в которых
«Интернационал»!

Мы жили.
Ветер
 свистел в ушах.
Земля
 светилась в восторге!..
Мы жили!
Мы сделали
 первый
 шаг, —
завидуйте нам,
потомки!
Не стоит хитрить,
 будто мы вам
 не очень зазидуем.
Но зависть такая
бессильной
не кажется пусть!
Уже прогудели сквозь время
 гудки басозитые!
Все точно.
Планета Земля
 отправляется в путь!
Товарищи дальнего века!
Родные товарищи!
Завидую я
послезавтрашним краскам
 Москвы.
Завидую морю.
Вечерней заре остывающей.
Дорогам степным,
по которым проходите вы.
Завидую солнцу.
Оно обожжет ваши лица.
С нездешнею грустью
 гляжу на любую звезду...
Но мы еще
 будем!
Вы слышите?
Мы
повторимся
в три тысячи первом —
 запомните это! —
 году!

Появимся запросто.

«Здравствуйте!» —

скажем векам.

Такие ж, как прежде, —

восторженные и безусые.

Мы

вашим,

потомки,

сердцам,

вашим рукам

доверим бессмертье —

доверим

свою

Революцию!

Из сборника
"СВЕТ ЗЕРКА"
1964-1966



ВЕСЕННИЙ МОНОЛОГ

За порогом —
потрясающие бездны.

Я в одну из них,
 смеясь, беру билет...

Кто-то ночью под окном
пел песни.

Хулиган, наверно.

Или поэт...

Ошалелая капля
стучит в стекла.

Водосточная труба
пьяным-пьяна!

И над жадною землею распростерта,
как несбыточный покой,
голубизна.

Мир огромен.

Но сегодня в мире тесно!

И капли никого не пощадят...

Где вы бродите,
великие оркестры?

**Вам бы в эти дни
играть на площадях!..**

Все весеннее:

намеки,

и поступки,

и бездумные шаги по мостовой.

Все весеннее:

бульвары и простуды,
ветер,
пахнувший вчерашнею травой.
Верю я, что есть улыбка в этом ветре.
Верю в ласковость и силу
сквозняка.

В постового застеснявшегося
верю.

И не верю только в синие снега.
Потому что на снега
лучи насели!

Солнце малое
дрожит в любом окне.
И ручьи,

как молодые Енисей,
рвутся к лужам —
океановой родне!
Все торопится,
шарахается,
булькает.

Настигает.
Остается позади...

Что-то будет.
Неприменно что-то будет.
Что-то главное
должно произойти.

СТИХИ О ХАНЕ БАТЫЕ

А. Ковалеву

А все-таки ошибся
старикан!
Не рассчитал всего
впервые в жизни.
Великий хан.
Победоносный хан.
Такой мудрец и —
надо же! —
ошибся...

Текла,
ревя и радуясь,
орда.
Ее от крови
было и качало.
Разбросанно горели города,
и не хватало стрел
в тугих колчанах.
Белели трупы
недругов босых.
Распахивал огонь
любые двери.
Дразнил мороз.
Смешил чужой язык.

И сабли
от работы не ржавели.
И пахло дымом,
 пóтом и навозом...
Все, что еще могло гореть,
 спалив,
к тяжелым пропылившимся повозкам
пришельцы гнали
 пленников своих.
Они добычею в пути менялись.
И, сутолоку в лагерь принося,
всех ставили к колесам.
И смеялись:
«Смерть!» —
 если ты был выше колеса.
У воина рука не задрожит.
Великий хан
 все обусловил четко...

Везло лишь детям.
Оставались жить
славянские
 мальчишки и девчонки.
Возвышенные,
как на образах.
Что происходит —
 понимали слабо...

Но ненависть
в заплаканных глазах
уже тогда —
не детская —
 пылала!
Они молчали.
Ветер утихал.
Звенел над головами
 рыжий полдень...

И все-таки ошибся
 мудрый хан!

Ошибся хан
и ничего не понял..
Они еще построятся
 в полки!

Уже грядет,
уже маячит
 битва!..

Колеса были
слишком высоки.

А дети подрастают
 очень быстро.

* * *

У киоска
 поет Отелло
над изящным трупом жены...
Все
 транзисторные антенны,
будто шпаги,
обнажены!
Из нахохлившихся домишек,
из садов,
 из любой квартиры,
из карманов и из-под мышек
лезут песни,
льются мотивы!
То в цветном восточном обличье,
то мерцающие,
 как свеча,
то приказывая,
то мурлыча,
то покрикивая,
то шепча.
Оголтелые,
 злые,
 зыбкие...
Слышишь:
снова на весь квартал
с бабьей грустью Людмилы Зыкиной
соревнуется
 Ив Монтан...

Сквозь него проступает ария.
А за этой арией следом
гром

Ансамбля Советской Армии
кроет с жаром
по диксилендам!..

Треск морзяночного гороха
в перерывах —

вместо отдушины...

Так планета многоголоса,
будто этих планет —

полдюжины!

Усмехаются люди муторно.

Спят с транзисторами под головой...

И своя у каждого

музыка.

Свои песенки.

Выбор свой.

ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ

Кумачи вихрастые
утром
 запылают...
Пахнет свежей краскою
и мытыми полами.
Спящий город
 прячет
настроение свадебное...
Спят гирлянды лампочек,
в полусне позванивая...
Спит,
 забывшись с вечера,
лейтенант старательный.
Форма спит на плечиках —
летняя.
Парадная...
В танцевальных залах
пусто и непесенно...

Завтра,
 завтра,
 завтра
радиолы взбесятся!
Завтра будет
 выдано
и струнное
и медное!

Завтра будет
 выпито
две реки —
не менее!
Станут рюмки —
 крохотными.

Лица —
 неотчетливыми.
То-то будет грохота
и топота чечеточного!
За столы
законные
сойдутся коллективы...

А пока над городом
бесконечно тихо.
Он
 как будто светится.
Будто начат заново.
И еще не верится
в то, что праздник —
завтра...
И темнеют впаянно
чуть самодовольные
урны —
будто памятники
неизвестным дворникам.
Пахнет
свежей краскою
и мытыми полами...
Кумачи вихрастые
утром
 запылают.

**ДРУГУ,
КОТОРОМУ Я НЕ УСПЕЛ НАПИСАТЬ СТИХОВ**

Есть на свете
 такие парни —
дышит громко,
смеется громко,
любит громко
и шепчет
 громко!
Есть на свете такие парни...
Есть на свете
такие парни!
К жизни
 он припадает губами.
Пьет ее.
И напиться не хочет...

И когда —
 такие! —
 уходят
вдруг,
на взлете,
на взмахе,
на вздохе, —
как земля в сентябре,
 обильны, —
ничего не чувствуешь.
Только
жжет обида.
 Одна обида.

На кого — не знаю.
Обида.
И гадать не хочу.
Обида.

Есть на свете
такие парни.
Все для жизни в них —
не для памяти!
Память, в общем-то,
по иронии —
вещь
достаточно односторонняя.
И бубнить про нее округло
в данном случае
слишком глупо,
слишком горько
и бесполезно...

Мы —
 живые.
Мы —
 из железа.
Пусть намеком
 пустые урны
крематорий
держит за пазухой.
Вновь меня
 заполняет утро.
как улыбка
Женьки Урбанского.

ИГРАЮТ ГАММЫ

Е. Малинину

За стенкой дальней
играют гаммы...

Они

 недавно
звучали в Каннах.

Они упорны,
они бесстрастны.

В них столько

 пота,
что даже страшно.
Об этой странности,
как об открытии,
твердили

 разное
в газетах критики.
Статьи подробные
понаписали...

Билеты

 проданы
в концертном зале.
Сегодня вечером
весны

 прибавится...
Рояль доверчиво
вдохнет под пальцами.

И —

откровением
за откровенность —
в прикосновении
родится вечность...

А в зале сядут
ребята

дельные
пятидесятих
годов
рождения...

Внимают нехотя.
Глядят загадочно.
Им очень некогда
волынить

с гаммами!
Земля заходится.
Она —

рискова.
Чего-то хочется
совсем другого!
Но так,
чтоб сразу
в разливах меди
с начальной фразы
пришло
бессмертье!
Земля взлохмачена.
Пыль

под ногами...
Терпите,
мальчики!
Играйте гаммы.

Мне уже в который раз
 снится тот же самый сон:
затемненные дома
спину горбят.
До второго этажа
 город снегом занесен —
неживой,
не простой,
старый город.
Долгой полночью накрыт.
 Звездным инеем согрет.
На плечах моей земли —
 снег налипший.
Будто он —
 за тыщу зим.
Будто он —
 на тыщу лет.
Только я и сквозь него —
 слышу!
 Слышу!

Продирается трава!
Продирается,
 крича!
Так
Продрогшее зверье
 рвется к снеди.
У меня в ушах звенит
 боль зеленого луча.

Я ползу,
я плыву
 в темном снеге.
Я хочу спасти в траве
 молчаливых светляков.
Но грохочет надо мной
мир уставший!
До травы,
как до весны,
 невозможно далеко.
Далеко-далеко.
Даже дальше.
Нет еще других времен.
Нет еще других погод.
Лишь зыбучая мзель
 впала в ярость...

Это —
 очень старый сон.
Это —
 сорок первый год.
Это —
 карточки на хлеб
потерялись.

* * *

Приходит врач, на воробья похожий,
и прыгает смешно перед постелью.
И клювиком выстукивает грудь.
И маленькими крылышками машет.
— Ну, как дела? —

чирикает привычно. —

Есть жалобы?.. —

Я отвечаю:

— Есть.

Есть жалобы.

Есть очень много жалоб...

Вот, — говорю, —

не прыгал с парашютом...

Вот, — говорю, —

на лошади не ездил...

По проволоке в цирке не ходил...

Он морщится:

— Да бросьте вы!

Не надо!

Ведь я серьезно...

— Я серьезно тоже.

Послушайте, великолепный доктор:
когда-то в Омске

у большой реки

мальчишка жил,
затравленный войною...

Он так мечтал о небе —

синем-синем!

О невозможно белом парашюте,
качающемся в теплой тишине...

Еще мечтал он

о ночных погонях!

О странном,
древнем ощущение скачки,
когда подпрыгивает сердце к горлу
и ноги прирастают к стремянам!...

Он цирк любил.

И в нем —

не акробатов,

не клоунов,

не львов, больших и грустных,

а девочку,

шагающую мягко

по воздуху,

спрессованному в нить.

О, как он после представлений клялся:

«Я научусь!

И я пойду за нею!..»

Вы скажете:

— Но это все наивно... —

Да-да, конечно.

Это все наивно.

Мы —

взрослые —

мечтаем по-другому

и о другом....

Мечта приходит к нам

еще неосязаемой,

неясной,

невидимой,

неназванной, как правнук.

И остается в нас до исполненья.

Или до смерти.

Это все равно.

Мы без мечты невыносимы.

Бессильны.

Но если исполняется она,

за ней — как ослепление —

другая!..

МАТРЕШКА

A. K.

Друзья,
 мой выбор невзлюбя,
зря
голову морочили!

В тебе — четырнадцать
тебя
вместилось,
как в матрешке!..

Живет со мною первая —
дородная,
степенная...

Вторая
 больно колется,
за что — не разберу...

А третья — будто школьница
на выпускном балу.
Все — можно,
все — пожалуйста:
и небо и земля...

Четвертая
безжалостна,
как мертвая
петля...

А пятая —
 зловещая,
приметам глупым
верящая...

Шестая
 как эпоха,
где ни чертей,
ни бога!..
Молчит,
 не принимая,
ревнивая —
седьмая...

А следом за ревнивою
заохала ленивая,
ленивая,
постылая,
до мелочей земная...
Девятая — бесстыдная!
Девятая —
 шальная!..

Десятая,
десятая —
испуганная,
 зябкая,
над собственной судьбою
горюющая с болью....

Одиннадцатая —
 щедрая,
загадочная,
нежная,
просящая прощения
за то,
 чего и не было...

Качается двенадцатая,
как ягода лесная,
еще никем не найденная...

А дальше
я не знаю,
не знаю и настырничая,
и все
не надоест, —
хочу достать четырнадцатую,
которая —
ты и есть!

СЫН ВЕРЫ

Ю. Могилевскому

Я —
сын Веры...
Я давно не писал тебе писем,
Вера Павловна.
Унесли меня ветры,
напевали мне ветры
то нахально,
то грозно,
то жалобно.

Я — сын Веры.
О, как помогла ты мне, мама!
Мама Вера...
Ты меня на вокзалах пустых обнимала,
мама Вера.
Я —
сын Веры.
Непутевого сына
ждала обратно
мама Вера...
И просила в письмах
писать только правду

мама Вера...
Я —
сын Веры!
Веры не в бога,
не в ангелов,
не в загробные штуки!

Я —
сын веры в солнце,
которое хлещет
сквозь рваные тучи!

Я —
сын веры в труд человека.
В цветы на земле обгорелой.

Я —
сын веры!
Веры в молчанье
под пыткой!
И в песню перед расстрелом!

Я —
сын веры в земную любовь,
ослепительную, как чудо.

Я —
сын веры в Завтра —
такое,

какое хочу я!
И в людей,
как дорога широких!
Откровенных.

Стоящих...

Я —
сын Веры,
презираю хлюпиков!
Ненавижу плаксивых и стонущих!..
Я пишу тебе правду,
мама Вера.

Пишу только правду...
Дел — по горло!
Прости,
я не скоро
вернусь обратно.

* * *

Говорила мама:
«Сынок,
 уймись!
Чего тебе все
неймется?..»
Говорила мама:
 «Делом займись...
Когда ж ты это
делом
займешься?..»

Дело мое, дело —
маета моя.
Мой восторг.
 Мое любопытство.
Давняя усталость.
 И крепкая шлея.

Торжество мое.
Моя пытка.
Может быть, и вправду
 резона
 нет

выводить
корявые буковки!
Может, где-то рук моих
 дожидается нефть
с краю
от читательской публики.

Пусть бы
где-нибудь у серьезной реки
бригадир,
бровастый как демон,
по ранжиру выстроя
крутые матюги,
учил бы меня
заниматься делом...
Это — не кокетство.
Совсем не то.
Не буду я
ни для кого обузой...
Но уже проверил:
никогда и ни за что
дело мое
меня не отпустит.
Знаю,
куда бы меня ни занесло —
встанет на пути
неизменно
дело мое, дело.
Мое ремесло.
Радостная
высшая мера.
Но когда порою предзаревой
никчемными
кажутся слова,
я тихо усмехаюсь.
Качаю головой.
И думаю,
что мама была
права.

Я И МЫ

А. Бочарову

Начинается любовь
с буквы «Я»!
И только с «Я».

С «Я» —
до ревности слепой.
С «Я» —
и до
небытия!

Понимаешь?
Я —
влюблен.
Понимаешь?
Я —
люблю.

Я!
Не ты,
не вы,
не он —
обжигаюсь
и терплю.

Никого на свете нет.
Есть она и я.

Вдвоем.
И на множестве планет
ветер
зненом напоен...

Лепет классиков?
Не то!

Лампочка
среди бела дня...
Я-то знаю,
что никто
не влюблялся
до меня!

Я найду слова свои.
Сам найду!
И сам скажу
А не хватит мне
Земли —
на созвездьях напишу!

И ничьих не надо вех.
До конца.
Наверняка...

Так и действуй,
человек!
И не слушай шепотка:
— Мы б в обнимку
не пошли...
Мы б такого
не смогли...

В наше время,
в тех
годах
мы
не танцевали...
так...
Неприлично...
Неприли...

Надымили!
Наплели!..
Все советы оборви.
Грянь
улыбкою из тьмы:
— Сами
мыкайтесь в любви!

Вы,
которые
на «мы»!

* * *

Взял билет до станции
Первая любовь.

Взял его негаданно.

Шутя.

Невзначай.

Не было попутчиков.

Был дым голубой.

Сигареты кислые.

И крепкий чай.

А еще шаталась монотонная мгла.

А еще задумчиво гудел паровоз...

Там, на этой станции,
вершина была.

Теплая вершина.

До самых звезд.

Ты ее по имени сейчас не зови,

хоть она осталась —

лицом на зарю...

Встал я у подножия

Первой любви,

Пусть не поднимусь уже —

так посмотрю.

Потянулся к камню раскаленной рукой,

Голову закинул,

торопясь и дрожа...

А вершины вроде бы
и нет никакой.

А она, оказывается,
в пол-этажа...

Погоди!
Но, может быть, память слаба?..
Снег слетает мудро.
Широко.
Тяжело.

В слове
буквы смерзлись.

Во фразе —
слова...

Ах, как замело все!
Как замело!..

И летел из прошлого
поезд слепой.

Будто в долгий обморок,
в метели нырял...

Есть такая станция —

Первая любовь.

Там темно и холодно.

Я проверял.

* * *

Хочешь — милуй,
хочешь — казни.
Только будут слова
 просты:
дай взаймы из твоей казны
хоть немножечко
 доброты.

Потому что моя
почти
на исходе.

На самом дне.
Погубить ее,
не спасти —
как с тобою
 расстаться мне...

Складки, врезанные у рта,
вековая тяжесть в руках...
Пусть для умников
доброта
вновь останется
в дураках!..
Простучит по льдинам апрель,
все следы на снегу замыв...
Все равно мы
будем добрей
к людям,
кроме себя самих!

Все равно мы
будем нести
доброту
в снеговую жуть!..

Ты казнить меня
погоди.
Может,
я еще пригожусь.

НЕРВЫ

В гневе —
 небо.
В постоянном гневе...
Нервы,
 нервы,
каждый час —
на нерве!
Дни угарны...
И от дома к дому
Ниагарой
хлещут
 валидолы...
«Что слова?!
Слова теперь —
 как в бочку!
Одна
живем на этой почве!»
Все
 неважно,
если век изломан...

Где серьезность ваша,
старый Лондон?
Где, Париж,
твоя былая нега?
Жесткость крыш
и снова —
 нервы,
 нервы!

Над годами —
от Ржева
и до Рима —
клокотанье
бешеного
ритма!..
Ты над дочкой
застываешь немо?
Брось, чудачка!
Нервы,
нервы,
нервы!..

Руки вверх,
медлительность провинций!..
Нервный век.
Нельзя
остановиться.
Столб, не столб —
спеши осатанело...
Братцы,
стоп!..

Куда там...
Нервы...
Нервы...

Париж

ВОЮЮТ НАДПИСИ

А здесь вовсю воюют надписи!
Разборчивые.
Ключевые.
Категоричные до наглости.
Короткие,
 как очевидность...
С плаката сытого,
 лощеного
нахмуренная личность
глянула.
В нее листовка,
 как пощечина
(аж брызги разлетелись!),
вляпана!..
А эту надпись
 нынче ночью
сдирали, будто кожу —
 заживо!
Сдирали так,
что даже ноготь
остался —
 в штукатурку всаженный!
А этот лозунг взяли подкупом,
и он сползает со стены...
Война идет!
Я пахну порохом
неслышной буквенной войны.
Париж

РУЛЕТКА

Рулетка!

Вот вы не знаете о ней,

а это

очень интересно...

Калека,

превозмогая паралич,

привстал с продавленного

кресла!

Девушка,

чтоб не закричать,

платочком

рот закрыла

плотно...

Крупье надменен,

будто он

потомок

целой стаи лордов...

А с краю

интернациональный хлыщ

и наруганная дама

играют!..

Рулеточное колесо

как будто

спелый взгляд удава...

Рулетка!

Она летит, летит! Да так,

что в горле пересохло.

Налей-ка,
 хитрюга бармен,
 рюмку черного сока!..
 Собратья!
 Нечего грустить,
 о бренном житии трепаться!
 Сыграем!
 Во что хотите.
 Можно в карты.
 Можно даже так —
 на пальцах.
 Заботитесь?
 Ну что ж,
 давайте сыграем в заботу,
 о дальнейшем
 не кручиняси
 Не бойтесь!
 Мы не обманем.
 Не обманем.
 Мы еще не научились.
 Поэтому
 плевать,
 что кто-то одинок,
 ждет помощи,
 а кто-то
 плачет!
 Поехали!!
 Четыре сбоку.
 Наших нет.
 Не пляшут наши.
 Ваши пляшут...
 Поправим!
 Пусть будет ставкой —
 совесть!
 Чтоб глаза осоловели...
 Сыграем!
 Давайте кинем кости.
 Лучше сразу —
 человечьи!
 Пусть по степям они покатаются
 и там белеют
 зряшно...
 Крупье спокоен, будто кладбище.

Он стар.

И это страшно.

Крупье орудует лопаточкой.

Плывут орлы и решки.

И шар земной летит сквозь ночь,

как будто

шарик от рулетки.

Париж

* * *

Где-то оторопь зная
 с ног человека валит.
Где-то метель по насту
 щупальцами тарыхтит...

А твоего солнца
хватит
на десять Африк.
А твоего холода —
на несколько Антарктид...

Снова,
крича от ярости,
вулканы стучатся в землю!

Гулким,
дымящимся клетотом
планета потрясена...

А ты —
беспощадней пожаров.
Сильнее землетрясений.
И в тысячу раз беспомощней
двухмесячного пацана...

Оглядываться не стоит.
Оправдываться не надо.
Я только все чаще спрашиваю
с улыбкой и тоской:
— За что мне
такая мука?

За что мне
такая награда?
Ежеминутная сутолока.
Ежесекундный покой.

* * *

Л. Жуховицкому

Сейчас весна
 в походе.
Сейчас дожди
 горазды...
Но вопреки погоде
мы все-таки
сгораем!
Горение,
 горение! —
закон
земного шара.
И чем Земля быстрее,
тем яростней пожары...

Вот инвалид
 притихше
и скорбно говорит:
«Нутро горит,
 братишка...
С войны еще
горит...»
А рядом —
веком избраны
для помыслов сажённых —
кричат истошно
искорки
в руках у акушеров!..

Напористо,
усердно
в горячке
бьется мысль.
Кипит вода в бассейнах
от раскаленных мышц...

Погаснуть не пытаемся
(напрасные старания).
По улицам
шатаемся
веселыми кострами!
И каждый день, как опыт, —
неведом
и горяч...
Горит
на сыне обувь.
Не уследишь —
хоть плачь...

Горение,
горение...
Преследуют и дразнятся
горячие
колени
серьезной одноклассницы...
От логик
до туманностей
миры в себя вбираем.
До крохотки,
до малости
сгораем.
Сгораем.
Раздумываем трудно,
рассвету покаясь...
Костер
Джордано Бруно
еще пылает
в нас!..
Завяли чьи-то жалобы, —
сейчас они смешны...

Сердечными пожарами
дома

освещены!

За сорок дней до лета,
до всех его красот,
раскалена

планета.

Аж подошвы жжет!

КОРОЛЕВА ПЛЯЖА

В. Ежову

И была там королева пляжа...
Пляж,
 лениво вглядываясь в волны,
по утрам дымился,
будто плаха
после исполненья приговора.

В этот час —
как будто отвлеченно
от погоды,
моря
и вселенной —
шла по пляжу
 рыжая девчонка.

Мы ее прозвали
королевой.
Проходила,
 как землетрясение!

Проходила
 вызовом веселым.

По уютным письмам
и по семьям
шла она
нежданным ревизором!

Очень жглась
и слишком понималась,
от прически до ногтей
крамольна...
На локтях
мужья
приподнимались.
Говорили:
«Чудо —
это море!..»

Только жены
не желали чуда!
Вздрагивали жены,
будто чуя
недруга!
Едины и усердны,
расставляли крылья,
как наседки.
Их глаза решимостью сверкали
(королева проходила мимо).
А они ее
вовсю
свергали!

И топтали.
И до дна громили.
Косточки в муку перетирали,
заходясь
в высоком наслажденье,
потому что были
мастерами
в этом самом
очень женском
деле.
С ними было спорить бесполезно...
Королева шла легко,
спокойно.
И плескалось море
в королевстве.
И синели в королевстве
горы.

Королевство
(это было видно)
разделялось

на две половины.

На одной —
святое раболепье.
На другой —
проклятья королеве.

ЖАРА

Я
такой жары
еще не помню...
Жарко паутине.
Жарко полдню.
Жарко сквозняку,
дыханью,
шагу.
Жарко...
Кажутся несбыточными грозы.
И собака,
будто после кросса,
дышит
лихорадочно и жадно.
Жарко...
Даже рекам
духота понятна.
Небо за неделю полиняло.
Яблони распарились,
обвисли...
Медленно
пе-
ре-
пол-
за-
ют
мысли
с яблоней
на сморщенные перья.

Даже не переползают —
пере-
валиваются

и засыхают.

Засыхают,
будто засыпают...
Жарко.

Тишина.

Оцепененье.

Вянут подходящие сравнения.
Даже слову,

даже буквам

жарко...

... Ну вас к черту!

Надоело —

в рифму!

Построен за нощ град на пясек...

Сидит на стуле
добрая
-стулая
романтика

в усталом пиджачке.

Она и не кончалась —
время не было.

Она не отдыхала —
век не тот.

Она, прервав остроты,
нежно-нежно

на солнце
руку тонкую кладет.

Молчит —
а пальцы слушаются слабо.
И непривычно тихо за столом...

Струится и подрагивает
слава,

как воздух над пылающим костром.

* * *

Не верю в принцесс на горошинах.
Верю в старух на горошинах.
Болезнями огорошенных.
Дремлющих осторожно...

Они сидят над чаями
возвышенно
и терпеливо,
чувствуя,
как в чулане
дозревает
царство наливок...
Бормочут что-то печальное
и, на шаткий стол опершись,
буквами пишут печатными
письма —
длиною в жизнь...
Постели им —
не постели.
Лестницы им —
коварны.
Олады для них —
толстенны.
А внученьки —
тонковаты...
Кого-то жалея вечно,
кому-то вечно мешая,

прозрачны
и человечны,
семян
по земному шару...
Хотят они всем хорошего.
Нянчат внучат покорно...

А принцессы
спят
на горошинах.
И даже очень спокойно.

* * *

Гитара ахала,
 подрагивала,
 тенькала,
звала негромко,
переспрашивала,
просила.
И эрудиты головой кивали:
 «Техника!...»
Неэрудиты выражались проще:
 «Сила!...»

А я надоедал:
— Играй, играй, наигрывай!
Играй что хочешь.
 Что угодно.
 Что попало...

Из тучи вылупился дождь
 такой наивный,
как будто в мире до него
дождей
не падало...
Играй, играй!
Деревья тонут в странном лепете...
Играй,
 наигрывай!..
Оставь глаза открытыми.
На дальней речке
 стартовали гуси-лебеди —
и вот, смотри, летят,
летят и машут крыльями...

Играй, играй!..

Сейчас в большом

нелегком городе

есть женщина

высокая, надменная.

Она, наверное,

перебирает горести,

как ты перебираешь струны.

Медленно...

Она все просит

написать ей что-то нежное.

А если я в ответ смеюсь —

не обижается.

Сейчас выходит за порог.

А рядом —

нет меня.

Я очень без нее устал.

Играй, пожалуйста...

Гитара ахала.

Брала аккорды трудные,

она грозила непонятною истомою...

И все,

кто рядом с ней сидели,

были струнами.

А я был —

как это ни странно —

самой тоненькой.

ПАЛАНГА

А. Малдонису

«Палáук»

значит

«подожди».

Паланга —

значит, идут дожди.

В аллеях скучно.

Темно в палатках.

А ты

палáук.

Ты палáук.

Тогда увидишь ее такую,
как я увидел...

Устали ветры.

И солнце

в дюны вонзило корни,

и там они проросли мгновенно!

И стал песок

первозданно желтым,

он лился расплывчатым жидким шелком!

Он терся щекой.

Он кипел под ногами.

И плавился.

И расходился кругами!..

Я точно тебе не скажу,
но, наверно,
солнце
было и снизу
и сверху!
Оно по соснам текло,
содрогаясь.
И даже море перепугалось...
И посредине такого разлада
стояла
застенчивая Паланга
и водоросли перебирала рукою...
Еще ты увидишь ее такою.

«Пала́ук»
 значит
 «подожди».

Паланга —
 значит,
 идут дожди.

ВВЕРХ — ВНИЗ...

Пусть продолжается наше кочевье,
Ты от привычного
отмахнись...

Владивосток

будто качели:

вверх — вниз,

вверх — вниз...

Это —

без наигрыша и рисовок —
у океана
природа учится.

Это

на спины щербатых сопок,
сопя и кряхтя,

взбираются улицы.

С этими улицами поспорь.

Их крутизну положи в конверт...

Владивосток

будто любовь:

вниз — вверх,

вниз — вверх...

Капли прибоя

утри со лба,

ветру серьезному поклонись...

Владивосток

будто судьба:

вниз — вверх,

вверх — вниз...

Та ли дорога
или не та, —
в наших ладонях
бессонный век...
Владивосток
будто мечта:

вверх,
вверх,
вверх,
вверх!

ХАШИ¹

Кому — кофе,
кому — каши,
а мне — хаши,
хаши,
хаши!

Хаши!
Подъезжают в миске,
будто пленники
к Орде.

Как мятущиеся мысли
Каракумов
о воде...
Хашами одними бредят
предвкушающие рты...

Погоди!
Еще не время.
В хашах
нету остроты...
Мы себя не опозорим.
Мы сидим,
наморщив лбы.
Хаши солим,
хаши солим,
будто на зиму
грибы.

¹ Х а ш и — грузинское национальное блюдо.

Мы стараемся на совесть —
закружила,
понеслась! —
льем туда

чесночный соус
и размешиваем всласть.
Соль
поскрипывает ржаво...

Ладно!
Можно и начать...
В ложке

белого пожара
капля жира,
как печать...
Эй, приятель,
ты напрасно
сигареткой задымил...
Надо выпить
за прекрасный,
но бездарно пресный
мир!

Мы еще его
подсолим!

По нему,
смеясь, пройдем!
Море с берегом
поссорим.

Дьявола
изобретем!..
Солим

крупно и жестоко.
Горло —
в радужном огне...
И пощипывают
только

пересоль,
на спине.

ПИСЬМО ИЗ БУХТЫ Н.

Пишет тебе
капитан-лейтенант.
Пойми,
что письмо для него
не внезапно...

Как там у вас дождевики звенят
по тихим скамейкам Летнего сада?..
Мне надоели
щенячьи слова.

Глухие: «А вдруг».
Слепые: «А если».
Хватит!..

Наверное, ты права
даже в своем откровенном отъезде...

Жила.
Замирала, остановясь.
И снова по комнате нервно бродила.
И все повторяла:
«Пустынно у вас...»,
«У вас неприятно...»,
«У вас противно...».
Сто раз примеряла платья свои.
И дотерпела только до мая...

Конечно,
север —

не для семьи.

Я понимаю.

Я все понимаю...

Здесь ночь,

у которой не сыщешь дня.

Скалы как сумрачные легенды...

Так и случилось,

что стала

«жена»

очень далекой

строчкой анкеты...

Мне передали «письмо от жены».

Пишешь:

«Служи,

не мучайся дурью...»

И — фраза о том, что

«мы оба

должны

вместе

о будущем нашем подумать...»

Вместе!..

Наверно, решится само.

Пэрегорит.

Пройдет через сито...

Я перечитываю письмо,

где:

«Перевод получила.

Спасибо...»

Издалека приползший листок.

Просто слова.

Деловито и пошло...

Впрочем, спасибо.

Не знаю —

за что.

Может,

за то, что работает почта...

Глупо все заново начинать,
но каждая строчка
взрывается болью!..

Сидит за столом
капитан-лейтенант
и разговаривает с тобою:
— Мне некогда,
попросту говоря!

Слышишь!
Зачем ты понять не хочешь?
Некогда!
Некогда!
Некогда!!

Зря
и через «некогда!»
ты приходишь!

Пришла?
Помоги мне обиду снести.
Тебя считать
прошлогодней мелью.

И все!..
... А больше
писем не жди.
Это —
последнее.

Если сумею...
Сумею.
К этому я готов.

Считай, что кончилось все
нормально...
Есть жены,
которые —

для городов.

Я понимаю.
Я все понимаю...
У нас ревуны в тумане кричат
и полночь наваливается оголтело...
Но, кроме погон,
на моих плечах

служба моя.
Профессия.
Дело.

Его — по горло!

(Даже взаймы
выдать могу,
если примешь присягу.)

Живи...

Привет от нашей зимы
слишком знакомому
Летнему саду.

СТИХИ О СЛОЖНОСТИ

Подъезды встречают мерцанием нечетким,
и бухает дверь за спиной деловито...

В подъездах
целуются парни
с девчонками.

А я им завидую.

Очень завидую...

Я все это помню до малых подробностей:
дорога еще непонятна,
не начата.

И сразу же —
нагромождение сложностей,
в которых земля
для любви предназначена!

Впервые приходится
сложно молчать,
все понимать с полуслова.

И на записки
не отвечать

загадочно,
долго,
сложно.

Впервые пугают
случайные взгляды.

И время
как вкопанное остановилось!

И веришь в великие
сложные клятвы...

Неужто из сложности этой
я вырос?!
Я старше.
Я здорово знаю сам:
пустяшной

всех пустяков
к девичьим сердцам,
дрожащим сердцам
подбирать
отмычки стихов.

Как все это просто!
До смеха.
До жути.
Далекие клятвы
однажды затихли...

Влюбленные мальчики,
не обессудьте!
Наверно,
и вас
простота настигнет...
Целуются
восемнадцатилетние
самозабвенно
и неумоимо.

В восторженном лепете,
собственном лепете
для них
открывается сложность мира!..
А я
опускаю голову вниз.
Влюбленных я обхожу осторожно.
И очень тихо прошу:
— Вернись,
та,
первозданная сложность.

* * *

Ты мне сказала:
«Ночью
тебя я видала
с другой.

Снилось:
на тонкой ноте
в печке гудел огонь.
Снилось, что пахло гарью.
Снилось: метель мела.
Снилось, что та —

другая —
тебя у метро ждала.
И это было

началом
и приближеньем конца...
Я где-то ее встречала —
жаль,
не помню лица.
Я даже тебя
не помню.

Помню,
что это —

ты...

Медленно
и не больно
падал снег с высоты.
Сугробы росли неизбежно
возле холодной скамьи.

Мне снилась твоя усмешка.
Снились
слезы мои...

Другая
сидела рядом.
Были щеки
бледны...

Если все это —
неправда,
зачем тогда
снятся сны?!

Зачем мне —
скажи на милость —
знать запах
ее волос?..»

А мне
ничего не снилось.
Мне просто
не спалось.

* * *

О, поэтические дела!
Ни между строчек.
Ни напрямик...

Бумага стерпит.
Она — бела.
Читатель

тоже вполне привык.

И можно —
воду сквозь решето.
И можно киснуть
в своем углу.
Писать

про это.

Молчать

про то.

Играть

в рифмованную игру.

А можно сделать наоборот:
так куролесить

и так дурить,

что даже критик
откроет рот
и позабудет

его закрыть.

Иным

такая должность дана...

Но как мне честным
быть до конца?

Войти без стука
в ваши дома.
Войти без штучек
в ваши сердца.

СОДЕРЖАНИЕ

Е. Сидоров. Служба поэтического слова (О творчестве Роберта Рождественского)	5
--	---

ИЗ СБОРНИКА «ИСПЫТАНИЕ» (1951—1956)

Речка Иня	19
\ Ожидание	21
В пути	24
Двое	25
О разлуке	27
«Приходить к тебе, чтоб снова...»	29
✓ Без тебя	30
«Слова бывают грустными...»	32
Моя любовь (Поэма)	33

ИЗ СБОРНИКА «ДРЕЙФУЮЩИЙ ПРОСПЕКТ» (1956—1959)

«Я уехал от весны...»	57
Облака	59
Немного экзотики	61
Мираж	64
«Восемьдесят восемь»	66
Хребет имени Ломоносова	69
Нелетная погода	72
Ушел самолет	75
Северное	77
Аврал	77

Ровесникам	81
Арктическая болезнь	83
Возвращение	85

ИЗ СБОРНИКА «НЕОБИТАЕМЫЕ ОСТРОВА» (1959—1962)

В сорок третьем	89
Жизнь ✓	92
Под водой	94
Необитаемые острова	96
Игра в «Замри!»	99
Ревность	101
Богини	103
«Будь, пожалуйста, послабее...»	105
Ливень	107
Сердце в руках	109
Творчество	111
Людам, чьих фамилий я не знаю	113
Чардаш	116
Аркадию Райкину	119
Окна, которые нарисованы	121
Стыдливые	123
Часы	125
Париж, Франсуазе Саган	127
О дорогах ✓	131
В гостинице	133
Рыбаки	135
Реквием (Поэма)	138

ИЗ СБОРНИКА «РОВЕСНИКУ» (1959—1962)

Стихи о моем имени	155
Ягоды	158
Память	161
Концерт	163
Засуха	165
«Голос начищенной меди...»	167
Города	169
«Находятся тяжелые колосья...»	171
«Я жизнь люблю безбожно!...»	172
Таежные цветы	173
Пельмени	175

«Невероятное спасибо, дюны!..»	178
Реки идут к океану	180
Телеграммы	182
Слышишь?!	185
«Я родился — нескладным и длинным...»	187
Друг	189
Крик родившихся завтра	191
«Мы судьбою не заласканы...»	193
Солнце	194
Костер	196
Песня	197
Следы	199
О личном	200
Так и надо!	203
«Нахожусь ли в дальних краях...»	205
«Я не был еще...»	207

ИЗ ЦИКЛА «НА САМОМ ДАЛЬНОМ ЗАПАДЕ»

(1963—1965)

Нью-Йорк сверху	211
22 ноября 1963 года	213
Танцуют индейцы	215
День благодарения	218
Памяти Хемингуэя	221
Стихи о себе	223
Могут!	226
Оттуда	228
Детская игра	230
В клубе миллионеров	233
Американский футбол	236
Кафе «Фламенго»	239
Кстати об обычаях	242
Чисто деловое письмо из Нью-Йорка Сэму Звягину, отечественному пижону	245

ИЗ СБОРНИКА «РАДИУС ДЕЙСТВИЯ»

(1963—1965)

Третье музыкальное	251
Радиус действия	254
«Кем они были в жизни...»	256
«За тобой через года...»	259
Дочке	261

Кочевники	264
В буддийском монастыре	266
Ремонт часов	269
Сауна	272
Памятник солдату Алеше в Пловдиве	274
Зал ожидания	277
Человек	279
Переезжает роща	280
Али-Бала	282
Ночью . ✓	284
«Интересуешься искусствóм?..»	286
Парни с поднятыми воротниками	288
Дипломатам нашим	291
Вольф Мессинг	294
«Вслушайтесь! Вглядитесь!..»	297
Базар того года	300
Письмо про дождь ✓	303
Ответ на записку из зала	305
Письмо в тридцатый век (Поэма)	308

ИЗ СБОРНИКА «СЫН ВЕРЫ» (1964—1966)

Весенний монолог	339
Стихи о хане Батые	341
«У киоска поет Отелло...»	344
Перед праздником	346
Другу, которому я не успел написать стихов	348
Играют гаммы	350
«Мне уже в который раз...»	352
«Приходит врач, на воробья похожий...»	354
Матрешка	357
Сын Веры	360
«Говорила мама...»	362
Зорге	364
Я и мы	365
«Взял билет до станции Первая любовь...»	368
«Хочешь — милуй, хочешь — казни...»	370
Нервы	372
Воюют надписи	374
Рулетка	375
«Где-то оторопь зноя...»	378
«Сейчас весна в походе...»	380
Королева пляжа	383

Жара	386
Памяти Михаила Светлова	388
«Не верю в принцесс на горошинах...»	390
«Гитара ахала, подрагивала, тенькала...»	392
Паланга	394
Вверх — вниз...	396
Хаши	398
Письмо из бухты Н.	400
Стихи о сложности	404
«Ты мне сказала! «Ночью...»	406
«О, поэтические дела!..»	408

Рождественский Р. И.

- Р62** Избранные произведения. В 2-х т. Т. I. Стихотворения; Поэмы (1951—1966)/Предисл. Е. Сидорова; Худож. В. Медведев.— М.: Худож. лит., 1979 — 414 с.

В том первый вошли стихотворения из сборников поэта: «Испытание», «Дрейфующий проспект», «Необитаемые острова», «Ровеснику», «Радиус действия», «Сын Веры», из цикла «На самом дальнем Западе» и поэмы «Моя любовь», «Реквием», «Письмо в тридцатый век»,

Роберт Иванович РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

**Избранные произведения
Том I**

Редактор

З. Кондратьева

Художественный редактор

Ю. Боярский

Технический редактор

О. Ярославцева

Корректоры

Т. Кузина

Л. Овчинникова

ИБ № 1260

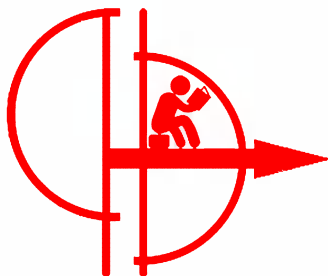
**Сдано в набор 29.09.78. Подписано
в печать 20.07.79. А11678. Формат
84×108¹/₃₂. Бумага типогр. № 1.
Гарнитура «Журнальная рубленая».
Печать высокая. 21,84+1 вкл.—
=21,892 усл. печ. л. 17,88+1 вкл.—
=17,948 уч.-изд. л. Тираж 75000 экз.
Заказ № 1313, Цена 2 р. 10 к.**

Издательство

«Художественная литература»

Москва, 107078, Ново-Басманная, 19

**Ордена Трудового Красного Зна-
мени Ленинградская типография
№ 2 имени Евгении Соколовой
«Союзполиграфпроме» при Госу-
дарственном комитете СССР по де-
лам издательства, полиграфии и
книжной торговли. 198052, Ленин-
град, Л-52, Измайловский про-
спект, 29**





2 р. 10 к.

Роберт Рождественский

Рождественский

Роберт

РР